



Главный редактор –
И.Ю. ГОЛУБНИЧИЙ

Шеф-редактор –
С.Г. ЗАМЛЕЛОВА

Зав. редакцией –
Г.В. МАМОНТОВА
galina-mamontova@mail.ru

Ответственный секретарь –
В.И. РУСАКОВ
pechat-vr@yandex.ru

Художник-верстальщик –
Р.А. ВОДЕНИНА

Редактор-корректор –
Н.Б. АЛЕКСЕЕВ

Редакция:

ООО «Издательский дом
ВЕЛИКОРОССЪ»
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Крупской,
д. 16, кв. 111

Рукописи и отзывы
принимаются по e-mail:
pechat-vr@yandex.ru

Электронная версия:
www.velykoross.ru

В номере:

Слово главного редактора 3



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА
«Имение моё заложено...» 4

Владимир КОРШУНКОВ
Из истории добровольных
народных дружин 168



ПОЭЗИЯ

Виктор КАШКИН
В городке, что зовут Протвино 9

Николай ШАМСУТДИНОВ
«Вновь перечтёшь заветное... забытое...» ..12

Пётр ГУЛДЕДАВА
Время считать цыплят...22

Валерий БОКАРЁВ
Из лета в осень75

Евгений КАРУНИН
Час молитв, раздумий, тишины.....98

Евгений ХАВАНОВ
Мы были, мы есть и будем!.....161

Тамара ПОТЁМКИНА
Все мысли лишь о России173

Сергей ГАЗИН
Мир человеческий.....176

Александр ЧЕРЕВЧЕНКО
Из Колымской тетради.....180

Некоммерческое издание
Литературно-исторический
журнал **ВЕЛИКОРОССЪ**
№ 3-4 (53-54) 2024
Выходит четыре раза в год
Распространяется бесплатно

16+

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
06.07.10.

Свидетельство о регистрации:
ПИ №ФС77-40753.

Учредитель и издатель:
С.Г. Макеева
141301, Московская область,
г. Сергиев Посад, а/я 16.

Подписано в печать 10.12.24.
Выход из печати 20.12.2024.
Формат 70x108/16.
Усл. печ. л. 16,8.
Тираж 1000 экз.
Заказ К-4672.

Отпечатано
в цифровой типографии
«Буки Веди» на оборудовании
KonicaMinolta
ООО «Ваш полиграфический
партнер», 127238, г. Москва,
Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6.
Тел.: (495) 926-63-96,
www.bukivedi.com,
info@bukivedi.com

Мнение редакции необязательно совпадает с мнением автора. Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты. Редакция в переписку не вступает. Рукописи не рецензируются. Принятые рукописи могут быть отредактированы. Любое воспроизведение материалов или их фрагментов на любом языке возможно только с письменного разрешения правообладателя.

© Литературно-исторический журнал «Великороссъ», 2024
© Авторы, 2024

ПАМЯТЬ

Элла КУЗНЕЦОВА
С Божьей правдой.....19

ПРОЗА

Екатерина ГЛУШИК
Детская сюита.....88

Юлия АЛЕКСАНДРОВА
А в ответ – тишина.....101

Сергей ЮДИН
Беседы о неведомом.....104

ЮБИЛЕИ

Михаил ОРДЫНСКИЙ-ДАВИДОВ
Сибирская история Юлии Друниной.....25



Слово главного редактора

**Уважаемый читатель,
дорогой соотечественник!**

Произошедшие за последние годы перемены свидетельствуют о том, что переход мира на очередной исторический этап в основных моментах совершился. Во многом человечество в своём развитии оказалось отброшенным назад, многое предстоит начинать практически сначала, и мы здесь – не исключение. Отказ от прогрессивного социалистического мировоззрения, упорное топтание на советском прошлом, проявляющийся то тут, то там противоестественный культ «амбивалентности» и прямого предательства – всё это, а также многое другое, является тормозом на пути в будущее. Специальная военная операция вселила надежды, раскрепостила дремавшие силы, открыла перспективы для России и её многонационального народа, объединённого общей историей, государственным пространством и безграничным миром русского языка. Сотни тысяч добровольцев выразили готовность отдать жизнь за целостность и независимость Русского Мира, миллионы россиян оказывают армии моральную и материальную поддержку. В то же время мы видим, как много выявилось сил, для которых судьбоносные события российской, русской истории являются всего лишь возможностью личного обогащения. Мы видим, как активизировался внутренний враг, зачастую коварно надевающий благонамеренные личины. Видим, как разного рода маркитанты (о которых писал в своём знаменитом стихотворении великий русский поэт Юрий Кузнецов) уже сейчас пытаются примазаться к грядущей неизбежной победе, а то и лихо присвоить её, потеснив истинных патриотов.

Все эти проблемы и задачи требуют всестороннего глубокого осмысления, в том числе и в системе координат отечественной художественной литературы.

Иван ГОЛУБНИЧИЙ
Кандидат филологических наук

Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Заслуженный работник культуры Чеченской Республики
Заслуженный работник культуры Республики Дагестан
Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия





«Имение моё заложено...»

(К 80-летию начала восстановления усадьбы Спасское-Лутовиново и Дома-музея великого русского писателя Ивана Тургенева)

Изменениями Тургенева с конца 1866 года до середины 1870-х годов управлял Никита Алексеевич Кишинский, о нечестности которого молва распространилась весьма широко. В те же годы Лесков работал над романом «**На ножах**» (1871). Лескову («В литературе меня считают орловцем», – неоднократно подчёркивал он), не прерывавшему связей со своей «малой родиной», были известны эти факты. Нечистый на руку управляющий Тургенева, который распорядился таким образом, что буквально разорил писателя, послужил одним из реальных прототипов Кишенского в романе «**На ножах**».

В нём Лесков разоблачил один из распространённых способов многовековой массовой мимикрии противников Христа, подобных экс-нигилисту воинствующему атеисту, еврею-безбожнику Тихону Кишенскому. Таким, как он, «нужен столбовой дворянин», в том числе и для того, чтобы под прикрытием славянских, особенно – знатных, фамилий пробираться на руководящие должности, занимать ключевые посты в государственных, коммерческих, религиозных, общественных учреждениях России с целью кабалить, разлагать и уничтожать коренное население страны, глумясь над его христианскими идеалами и православной верой; маскируясь русскими именованиями и вывесками; снаружи рядясь в овечьи шкуры, будучи изнутри волками; фарисейски прикрываясь благими целями доброделания, безбожно обогащаться, получать свои барыши, выгоды, прибыли и сверхприбыли, служить не Богу, а мамоне.

«*Не можете служить Богу и мамоне*» (Лк. 16:13), – говорит Господь. «*Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете*

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА



Алла Анатольевна Новикова-Строганова – доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Москва), историк литературы.

Живёт в Орле.



быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10:21), – наставляет апостол.

О трудности распознавания добра и зла учил Святой старец Силуан Афонский: «*Всякое зло, совершаемое свободными тварями, по необходимости паразитарно живёт на теле добра, ему необходимо найти себе оправдание, предстать облечённым в одежду добра, и нередко высшего добра*», потому что «*зло всегда действует “обманом”, прикрываясь добром*». Но, как пояснял старец, различение добра и зла необходимо и возможно, поскольку «добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и потому там, где появляются недобрые средства (лукавство, ложь, насилие и подобное), там начинается область, чуждая духу Христову».

Тишка Кишенский не только скаредный ростовщик, держатель ссудной кассы, но и коррумпированный газетчик, умудрившийся сотрудничать одновременно в трёх разных изданиях противоположных общественно-политических направлений. Одну из своих пасквильных статей он озаглавил «**Деятель на все руки**». Название как нельзя лучше подходит к нему самому и его разнообразной «деятельности». Этот «ростовщик, революционер и полицант», «подлый жид», как не раз его именуют в романе, нажил свой капитал аферами и предательством, в том числе, сотрудничая с полицией в качестве провокатора и шпиона.

Кроме того, этимология фамилии Кишенский уходит корнями в иврит и идиш. «Кишене» на идиш – «карман». На иврите слово «кис» также означает «карман».

Созвучие с ивритским «кэсэф» – серебро, деньги – неслучайно. Дизайнерский атрибут верхней одежды предназначен в первую очередь для хранения денег (ср.: карманные деньги).

«*Мужи кармана*», «*прибыльщики*» и «*компанейщики*» – так именовал Лесков капиталистов, буржуа, банкиров, ростовщиков, выступая против их бесстыдных спекуляций.

Лексико-семантический ключ фамилии лесковского персонажа обнаруживается в украинском слове «кишёня», что в переводе означает «карман».

В Евангелии от Иоанна повествуется, как Господь Иисус Христос обличил сатанизм иудеев: «*Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего*» (Ин. 8:44); «*Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога*» (Ин. 8:47). От общения с подобными безбожниками предостерегал апостол Павел: «*Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?*» (2 Кор. 6:14).

В статье Тургенева «Человек в серых очках» (1879) отмечено следующее: «Сила и цвет того жидовства, которое теперь завладело всеми карманами целого мира и скоро завладеет всем остальным. У кого карман в руках, у того и женщина; а у кого женщина, у того и мужчина».

О чужеродном кабальном иге, опутавшем Россию, настоятельно предупреждали Святые отцы – христианские подвижники. «*Видимыми бесами*» называл иудеев в V веке святитель Кирилл, патриарх Александрийский; «самые души иудеев есть жилища демонов», – утверждал святитель Иоанн Златоуст.

«*Всякий жид в наш карман глядит*», – подметила народная пословица. В русской фразеологии «карман» синонимичен слову «кошелёк». Для сравнения: держи карман шире; тугой карман (или: тугой кошелёк, тугая мошна) – о наличии у кого-либо больших денег; тощий (пустой) карман (или

кошелёк) – об отсутствии или недостатке денег у кого-либо; набить карман (или мошну) – разбогатеть, нажиться и т.д.

Подобный «муж кармана» управлял собственностью Тургенева. Из обширной переписки с Кишинским явствует, что писатель видел в нём «честного и деятельного человека», безраздельно ему доверял. Одно из писем Тургенева к управляющему заканчивается следующим обращением: «прошу Вас знать одно: я никогда не доверяю вполнину, а Вам я доверяю, а потому не смущайтесь ничем и делайте спокойно своё дело». Кишинский действительно не смущался ничем, беззастенчиво пользуясь в своекорыстных интересах оказанным ему безграничным доверием, и за время своего управления нанёс всемирно известному русскому писателю значительный материальный ущерб; махинациями приобрёл себе земли и имение Сидоровку.

Друзья и соседи Тургенева по орловскому имению, в том числе А. Фет, предупреждали писателя о злоупотреблениях Кишинского. Тургенев отвечал Фету из Буживаля: «Не сомневаюсь в том, что Кишинский нагревает себе руки». В то же время писатель долго не мог поверить в нечестность своего управляющего, относя известия об этом в разряд домыслов: «не можете ли Вы – под рукой, но достоверно – узнать, где и какое он купил имение? – спрашивал Тургенев Фета. – Сплетников, Вы знаете, у нас хоть пруд пруди».

Даже убедившись, что происки Кишинского не пустые слухи, писатель сохраняет доброжелательное к нему отношение. С добросердечием, открытостью и доверчивостью Тургенев стремится найти оправдания действиям управляющего. В ответ на недошедшее до нас письмо Кишинского, в котором тот, очевидно, пытался замести следы, Тургенев писал: «Сплетни, о которых Вы упоминаете, напрасно Вас тревожат. Вы знаете довольно мой характер: я на такого рода заявления совершенно неподатлив. Я нахожу совершенно естественным и благоразумным, что Вы позаботились о приобретении себе недвижимой собственности – это Ваш долг как семейного человека. <...> Впрочем, благодарю Вас за Вашу откровенность. <...> А потому, повторяю, Вам тревожиться нечего. <...> Фет написал мне о приобретении Вами земли, но я оставил это без ответа»; «Вы можете быть совершенно спокойны насчёт сплетен по поводу забранных Вами материалов <...> Я не имею привычки обращать на них внимания – и, коли доверяюсь, то вполне. Доверие моё к Вам именно такого рода».

Подобных заверений немало в письмах Тургенева. Однако вряд ли они говорят о недалёковидности или житейской непрактичности писателя. Скорее, это свидетельствует о благородстве его натуры, неизменной вере в торжество добрых начал человеческой природы.

В то же время Тургенев начинал догадываться о нечистоплотном ведении его дел Кишинским. Несколько раз писатель просил избавить свой капитал от «жидовских процентов». Справедливо предполагая, что в управлении имением допускаются махинации, писатель вынужден был обратиться к брату Николаю с просьбой проконтролировать действия управляющего: «Побывай в Спасском или выпиши к себе в Тургенево Кишинского, и пусть он тебе растолкует хорошенько, какую операцию он намерен предпринять <...>, чтобы избегнуть жидовских (11!) процентов Тульского банка <...> мне кажется неслыханным, чтобы под залог недвижимого имения безо всякого долгу драли такие проценты!»

Адресуясь с тем же вопросом к Кишинскому, Тургенев настойчиво и, по всей видимости, уже не в первый раз («мне приходится только повторить мою просьбу») – требует: «изложите мне в подробности <...> какого рода перезалог Вы хотите предпринять <...> для того, чтобы избавиться от процентов,

справедливо названных Вами жидовскими, – и как Вы от них избавитесь – и почему (что для меня особенно неудобопонятно) при закладе недвижимого и хорошего имения в банке приходилось заплатить такие громадные проценты?»

Обращает на себя внимание, что это письмо писатель уже не подписывает «преданный Вам Ив. Тургенев» или «доброжелатель Ваш Ив. Тургенев», как неизменно на протяжении нескольких лет он заканчивал свои послания Кишинскому. На этот раз он ограничивается только сухой подписью «Ив. Тургенев» без выражения каких-либо уверений и чувств.

Месяц спустя Тургенев, не получив вразумительного ответа от Кишинского, который, видимо, пытался запутыванием дела ввести писателя в заблуждение, скрыть жульничество, снова обращается к управляющему: «Не могу, однако, не заметить, что факт платежа 11 процентов под залог недвижимого, чистого от долгов, отличного имения – <...> мне представляется чем-то чудовищным!! <...> я брожу, как во тьме, – и знаю только одно: имение моё заложено за какие-то жидовские проценты. Пожалуйста, потрудитесь всё это мне хорошенько растолковать и в исполнение моей просьбы отвечать отдельно на каждый вопрос».

Однако Кишинский не торопился прояснить ситуацию, и в новом письме к нему снова находим недоумения Тургенева: «Вы на мои запросы не давали прямого ответа». Всё это не может не вызвать в читательском сознании ассоциацию с тёмными финансовыми спекуляциями Тишки Кишенского в романе Лескова «На ножах».

Нельзя не изумиться деликатности и человеческой порядочности Тургенева. Даже в чрезвычайной ситуации, когда обнаружили документальные свидетельства против Кишинского, Тургенев всё ещё опасается обидеть управляющего несправедливым подозрением, продолжает быть с ним неизменно корректным и сугубо тактичным. Так, изучив приходно-расходные ведомости, красноречиво свидетельствующие об истинном положении дел, писатель адресует к своему управляющему с прежней искренностью: «Я намерен сообщить Вам все соображения, которые были возбуждены во мне этими ведомостями, в полной уверенности, что Вы не усмотрите в моей откровенности ничего похожего на недоверие или сомнение; сама эта откровенность обусловливается убеждением, что я имею дело с человеком вполне честным, к которому следует относиться с обычной во мне прямою <...> выходит, что расход равняется почти приходу – и, можно сказать, что овчинка не стоит выделки. Обо всём этом необходимо нужно основательно потолковать во время моего приезда в Россию <...> Ещё раз повторяю Вам, что Вы не должны видеть ничего для Вас неприятного в откровенных моих объяснениях».

Вскоре после этого Тургенев решает поступить так, как учит в пословице народная мудрость: «Верь своим очам, а не жидовским речам». По приезде писателя в Спасское летом 1876 г. Кишинский произвёл на него совершенно иное впечатление, чем при знакомстве в Петербурге в марте 1867 г., когда Анненков порекомендовал Тургеневу нового управляющего. После первой встречи с Кишинским Тургенев писал Полине Виардо: «Он мне нравится – это человек с энергичным открытым лицом, смотрит прямо в глаза». Теперь от Тургенева не укрылись лицемерие и неискренность управляющего. Впечатление некой поддельности, ненатуральности создаёт сама его внешность: «Бородач Кишинский только потрясает своей бесконечно густой бородой и выставляет фальшивые зубы – от него толку мало», – пишет Тургенев из Спасского Маслову.



ПОЭЗИЯ

Виктор КАШКИН

Виктор Михайлович Кашкин – поэт, член МГО СП России. Известен по публикациям в газетах, журналах, коллективных сборниках. Автор поэтических книг «Россия дальше Енисея», «Я берега свои искал» и «Всего дороже».

Живёт в Москве.



В своём «родимом гнезде», писатель, наконец, смог воочию убедиться в справедливости давно распространявшихся толков о злоупотреблениях и мошеннических махинациях своего управляющего. Сложилась ситуация, в реальности воспроизводившая притчу Евангелия от Луки про «управителя неверного» (Лк. 16:8): «один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его; и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчёт в управлении твоём, ибо ты не можешь более управлять» (Лк. 16:1-2); «неверный в малом, неверен и во многом» (Лк. 16:10).

К чести Тургенева, не раздумывая, он обратился к решительным мерам: «я вынужден произвести завтра в воскресенье своего рода государственный переворот и свергнуть моего Абдул-Азиза, г-на Кишинского, оказавшегося мошенником, которого я поймал с поличным. <...> если я его ещё оставлю тут, он оберёт меня дочиста».

В письмах того же периода к Самарину, Щепкину Тургенев также именует Кишинского Абдул-Азизом, сравнивая своего управляющего с турецким султаном, расхищавшим государственную казну. Помимо того, восточное имя, отягощённое такими неприглядными историческими ассоциациями, в среднерусском духовном пространстве производит впечатление чего-то постороннего, инородного. «Абдул-Азиз» по сути своей чужероден среднерусской усадьбе, расположенной в самом сердце России, и не способен праведно ею управлять.

Согласно официальной версии, реальный Абдул-Азиз покончил с собой, вскрыв себе вены ножницами. В записке к Щепкину Тургенев говорит, что ему «удалось свергнуть Абдул-Азиза, не прибегая к ножницам».

Упоминание об остром, в данном случае – смертоносном – предмете в реально-историческом контексте порождает зеркальную литературную ассоциацию – опять-таки с романом Лескова, герои которого пребывают друг с другом «на ножах». В частности, о Кишенском сказано, что «долговременная жизнь на ножах отуманила его прозорливость и отучила его от всякой искренности». Лесковская характеристика литературного персонажа прямо соотносится с реально существовавшим Кишинским, который утратил осторожность и почти в открытую грабил Тургенева. «Надо Вам сказать, – писал Тургенев Вревской, – что я выезжаю из Спасского разорённым человеком, потерявшим более половины своего имущества по милости мерзавца-управляющего, которому я имел глупость слепо довериться; я его прогнал».

Писатель вынужден был не просто уволить грабителя Кишинского, но и выдать официальную доверенность на его уголовное преследование. В этом документе Тургенев устанавливает список преступлений своего управляющего: «оказалось, что г. Кишинский произвёл разные растраты принадлежащих мне сумм и имуществ, совершил недобросовестные контракты и, вообще, допустил злоупотребления и беспорядки, причинившие мне существенный вред и убытки, обманул, таким образом, вполне данную ему от меня доверенность. Вследствие сего я прошу Вас принять на себя труд преследовать по законам г. Кишинского в порядке гражданского или уголовного судопроизводства». Было ли возбуждено уголовное дело в отношении Кишинского, до настоящего времени остаётся неизвестным.

Кишенский в романе Лескова «На ножах» сумел остаться в тени, уголовному преследованию и Божьей каре подверглись другие его сообщники и жертвы.

В городке, что зовут Протвино

Вот те на! Записался в дачники.
Поневоле. Но раз уж так,
Двухколёсным рулю чемоданчиком
И несущим неподъёмный рюкзак.

Не скажу, что иду без радости –
Даром, что ли, обучен труду?..
Важно мне, что для бега от старости
Средства лучшего не найду,

Чем тропа на лесной обочине
Или сельской дороги грунт.
Хорошо мне на дачной вотчине,
Стал любимым сюда маршрут.

Беру лопату, почву режу.
Легко как поддаётся грунт.
Не режу,

нет,
я землю нежу,
Покуда есть крестьянский труд.

Красная луна

*«... и луна бысть яко кровь»
(Откр. 6:12)*

Луна порозовела.
Затмение нашло.
Пока она белела,
Ещё куда ни шло.

Пока желтком яичным,
Глазуньей в облаках,
Она была привычной –
Меня не трогал страх.

Пока не кровенела
В ночи её краса,
Что жгучей правдой тела
Гневила небеса.

Расстанусь с письменным столом,
Коль осень подошла к крыльцу,
И муза не заходит в дом,
Предпочитая улицу.

Луна зачала, словно в вате,
Когда прошита ночь туманом,
И звёзды неким клептоманом
Украдены совсем некстати.

Письмо

Понимаешь, мне некуда деться.
В городке под Москвой, в Протвине,
Принимаю таблетки для сердца
И наказания врача о вине.

Я приехал на медленный отдых
В октябре в городок Протвино
По горящей путёвке из льготных.
Мне такую хотелось давно.

Ванны, соли, уколы, массажи
В санаторный вошли рацион
И коктейли какие-то даже,
И, конечно, лесной моцион.

Рыжей речкою в соснах дорога,
Словно клавиши тени стволов,
И по клавишам звука немого
Я иду за мелодией слов.

Встретив стуком топорика, дятел
На осенний повёл карнавал,
А его башковитый приятель
Мне уроки морзянки давал.

И спешил я на них наглядеться,
Вспоминая, как будет давно
Эта радость – куда бы мне деться
В городке, что зовут Протвино.

Село Степанщино, за ним Рязанщина
Хранит есенинские места...
Хотя доносится сюда майданщина
И незалёжная вся суета,
Здесь жизнь по-прежнему порядку здешнему
Села приокского подчинена,
Вот разве что туристу пешему
Покою не даёт война,
Что с беспилотника пока
Глядит, спокойна ли Ока.

Дорога...
Это мне она
С зарёй дарила летом иней
Прибрежных ив,
Грозу и ливень,
И радугу над речкой синей,
Закат...
И всё, что звал Россией.



ПОЭЗИЯ

Николай ШАМСУТДИНОВ



Николай Миркамалович Шамсутдинов – советский и российский писатель, сатирик, переводчик, родился в 1949 г. на полуострове Ямал. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького в 1980 г. Член Союза писателей СССР (1982 г.) и Союза российских писателей (1991 г.), Заслуженный работник культуры Российской Федерации, академик Российской академии поэзии, Международной академии литературы, искусства, коммуникаций (Германия). В 2009 г. стал первым в Тюменской области членом Всемирной ассоциации писателей Международного ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр), а в 2020 г. – единственным писателем из Тюменской области, вошедшим в состав Творческого совета Ассоциации союзов писателей и издателей России. Бессменный председатель Тюменской региональной организации Союза российских писателей (1994 г.), консолидировавший литераторов трёх субъектов Российской Федерации: Тюменской области, и двух округов – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого – в единое писательское сообщество. Сопредседатель Союза российских писателей по Сибири и Дальнему Востоку (2019 г.).



Живёт и работает в Тюмени.

«Вновь перечтёшь заветное... забытое...»

Я над этой колыбелью
 Наклонилась чёрной елью.
 Бай, бай, бай, бай!
 Ай, ай, ай, ай...

Анна Ахматова

Обречён – до последнего вздоха – себе,
 серым северным утром, по совести, скверным,
 первый шаг, что ты сделал навстречу судьбе,
 оказался, превратною сутью, – неверным,
 чем его там, в прострации, ни объясняй...
 Тем истощней – склонившаяся «чёрной елью»
 над тобою – Ахматова, «ай-ай-ай-ай...» –
 горько проголосившая над колыбелью
 обречённого травле, ведь, неоспорим
 в лицемерии и к праведнику ревнивый,
 мир остался, Тартюф, узурпированным
 зубрами двоедушия,

сребролюбивый...

И какие аллюзии мир ни плоды
 и кому ни кади, тёмен и непрогляден, –
 в одиночестве, но – «доброхотов» среди,
 ты досель, как злословят они, «ретрограден»

в добродетелях... Наш озирая бедлам,
 испытующе: «Кто наилучший советник?» –
 вопрошает Биант из Приенны и сам
 отвечает нам: «Время...», как есть, исповедник –
 алчущим истины. И отнюдь не клише,
 что, надеждами множимые, не в забвенье,
 отверзаются чуткие чакры в душе,
 сутью – новое зренье, будящее бденье

неподкупности, чаще – в опале у масс...
 Тем язвительней в выводах, что бы ни зрело,
 будущее, отбрасывающее нас
 на обочину... И, как ни закаменело
 ожиданье, – суров и без обиняков,
 ты – лицом к лицу с миром, наглядно надсадным,
 но – спиной, стойк, к шабашу штатных шутов
 с психологией роя, в захолустье заштатном...

Покуда не сбываются пророчества
 и ложь, себя ж перевирая, мечется,
 Евангелием, друг, от одиночества
 душа, спасаясь от спасенья, лечится,
 несомая тропинкою, прибившейся
 к судьбе героя, она дышит сыростью
 забывчивой аллеи, прослезившейся
 над жребием садовника, над сиростью...
 Что предстоит ей, в листопаде, вынести? –
 при всей её язвимости, безмерности,
 лишь нищий духом ищет в очевидности
 учтивые черты недоверности.
 Но как понять проточные мгновения,
 когда, с тобой в скудеющем течении,
 жизнь вымывает из души сомнения
 в Божественном её предназначении?
 И, принимая муку, как сотворчество,
 не заслоняясь от любви обидою,
 как в книгу, углубившись в одиночество,
 вновь перечтёшь заветное... забытое...

В древоязыкой бессоннице, тем капризной
 неврастения, рядящаяся судьбою,
 что обернулась наотмашь, к себе ж – от жизни
 в лености воли, не знающей пут, с тобою –

мыслями там, где... Ущербнее, априори,
вспоминанья, где чайки, ещё – в минувшем,
грузно взлетая с воды, покидают море
от неожиданной мысли, свежо мигнувшей
в чутком сознание, и, вровень с душой, ночами,
что истлевают, в распадной листве, за нами,
смотрит былое – замученными глазами,
словно лицо – вопрошающими слезами.

С точки зрения данности, в убыли просини
есть сермяжная логика: лишь, в наущение,
воплощаемое послесловие к осени,
пустота здесь и та, помрачнев, в запустении,
как ни парадоксально... В домашних гиперболах
пряча раскрепощённое воображение,
мир не более чем постаревшее зеркало,
что с трудом отпускает твоё отражение.

И всё чаще, подчас к эйфории издателя,
книга, вчитываясь в тебя, в кущах за Летою,
не читателя видит в тебе, а мечтателя,
разогретого, блин! златокудрю Гретою,
чью обиду сводя к остракизму, ирония
отрешает от мыслей о бренном – к условию,
что, запальчива, зябнущим летом, гармония
уступает (неуж рецидив?) хладнокровию

хаоса. Навещаемы вещими пряжами,
наставляю ли сны, в отлученье от личного
и пустого, – чужими, как кажется, страхами,
что тебе и страшны? Без пространства статичного,
обделённого болью, едва обозначена
в посылаемом к дьяволу, чаще – без компаса,
память, стоит дать волю ей, так же обманчива
в жизни, слепо рядящейся драмой: соль образа

в чёрной правде подённой. Изнурённостью добыта,
она в каждой сердечной (изношенность...) трещине,
дар любви как продукт неподкупного опыта
дан стихийной, могучей союзнице – женщине.
Окрест сердца её – широки, не окрестности
сельбища, а свидетели той беззаветности,
чем мила она местности – в полной безвестности,
и ответ – в прозорливой её безответности...

С вещим ознобом, побледневший, вдоль
спины, с бордо, волхвующим в бокале,
в гранитном доме, в доме у Николь,
гипербореец пел в каминном зале.
Шибало в окна зноем плотных роз,
пел в жилах жар, бил в голову, и крепко
от ясной, проголосной «Ой, мороз...»
в глухих углах знобило тени предков.

Пел – с неизбывной вьюгою в глазах,
и пело, выпеваемое вчуже,
альпийским летом, в знойных витражах,
дыхание гиперборейской стужи.
Пел страннице страниц, и, по всему,
чужие, в одиночестве ревнивом,
внимали, отстранённые, ему
вершины Альп с серебряным отливом.

Любовь к непостоянной – не беда
под отрешённым небом голосила,
и выси отзывались – никогда
так музу далеко не заносило.
Ещё недавно – от родных высот,
он пел, счастливцев...

Слава не минует,
горячая, за плечи обоймёт
и с нежностью отважной поцелует.

Так, значит, жадным ожиданьем жить
и, побледнев, затерянным в пространстве,
неутолимой нежности служить –
порывистой, родной в непостоянстве,
чтобы затосковать, уехав, и,
среди лиц отчизны, набранных петитом,
открыть, что упования твои
в родстве с обезглавленным зенитом...

Пригревшийся под сердцем, не с руки
судьбе, как в неизбежную дорогу,
я вышел в мир, строптивец, вопреки
предназначенью, а вернее – року,
злокозненному в прихотях... Шагренъ
надсадной жизни, горше к сердцу жмётся
полярный день, отбрасывая тень

на будущее в перевертнях. Рвётся
вновь связь времён, ведь, к завтраму – зола,
учитывая каждую подробность,
чужая, счёт оплошностям вела,
в злорадной любознательности, подлость

присяжных «доброхотов»... Что ж я знал?! –
наглядно прям – из гунно-булгар? Скифов?
Протравлен травлей, не осознавал,
как страшен мир, законодатель мифов
о равенстве и братстве. Дерзок был,
всей жизнью – в замордованной тетради,
я имени, «*нацмен*!» не изменил
успеха и дешёвой славы ради,
как именно её ни назови,
ведь как, хрестоматиен, ни злословил
зоил, – я, прям, для гнева и любви
души, густых кровей, не экономил.

С отточенными кознями в судьбе,
веди я счёт назойливым обидам,
тогда непостижимый путь к себе
забило б безысходностью и бытом.
Грех сокрушаться, ибо не секрет
и, в оборотнях жанра, справедливо,
что в мире, унижая этим, нет
банальной справедливости... Учтива
измена, обнажённой боль держа,
И память длит пожизненную пытку,
ведь, к ужасу, мучительно свежа
жизнь, смётанная на живую нитку...

В жизни, скупой, но – на боли благой,
кто ни оплачет, оставлен, на тризне,
не домовитой «кавказской пчелой...» –
лавром, в зенит исходящим листвою,
быть мне, любимая, в будущей жизни,

в мерном роении полутеней
там, за спиною, пока, в утешенье,
в добрососедстве и крон, и корней,
явь не даёт нам покоя, и в ней
слышится ясной душе приглашенье

к бездне... Одухотворима тобой,
что эта жизнь, в прозябании? – складка
времени, что не разгладить рукой,
чтоб обрести долгожданный покой
и отдышаться от бремени, сладко

пестуем им, забытьём, заслоня
память от жизни... Пока не уснула,
рядом, на склоне студёного дня,
всё невдомёк тебе, что от меня
ты в трёх ревнивых терцинах Катулла...

Изнуряем усталостью в каждом, по существу, атоме,
как и встарь – Аввакум, протопоп, кротко тепла свечу,
протопопице рек: «Побредём ужо, Марковна...», –

катами
изнуряем, супруженице, поглощаем надеждой, шепчу:
«Побредём, не ропща на пустое, Михайловна...»,

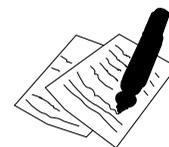
ведь и я
сим жеребием жив, что, поднесь попирающий тлен,
Господом отчуждаем, в терпении, от чужебесия,
но – освистываем inferнальным рефреном, ведь тлен –
в тавтологии лозунгов. «Двинутый» их теологией,
под опекой изматывающей опалы, отнюдь не птенец,
изъязвлён (автономный, по сути своей) биологией
боли, в жизни с билетом в один, безусловно, конец...

Господу и в достойном, и в горьком подчас –
исповедуясь
и молитвою превозмогая душевную мзгу,
лишь с единственной, с совестью,

трудник и мытарь, советуясь,
лишь её совестясь, мерзостей, как и кривды, бегу –
от клюющих, клеветущих, с алчными их интересами,
при мутирующих, но – в душе искони хороня
искру Божию, искореняему, в зависти, бесами,
что, ломаемы корчами, густо обстали, клоня
к инвективам – бездушью, покуль,

вне цинизма дежурного
и рефлексий подчас, нежности к светлому не стыжусь,
удручённый злоречием околелитературного,
в экивоках, планктона, чьей сути осмыслить не тщусь...

В трезвых трапезах,
 не дистанцируясь от «утонченности»
 глума ушлой среды, в поглощении ей, наяву,
 не минуете, нет! при удушливой перенаселённости,
 обыдёнщину, в коей попутчиком ей – не слышу,
 хоть на мир и гляжу, «ретрограден» в кристалльности,
 утренним,
 ясным взором новообращённого, глухо язвим
 серостью, что, в клинической шизофрении, да-с!
 внутренним
 напряженьем по-прежнему держит «изгоя» прямым...



ПАМЯТЬ

Элла КУЗНЕЦОВА

С Божьей правдой

Поэтесса-фронтовичка

Светлой памяти Юлии Друниной

*Она стихи слагала с детства –
 С литературой на «ты»,
 Читала книги жарким сердцем,
 Лелея светлые мечты.
 Счастливой юности надежды
 Оборвались из-за войны –
 Пошла на фронт девчонкой нежной,
 Спасать народ родной страны.
 Откуда только брались силы
 Свинцом израненных бойцов
 В санбат тащить, как из могилы,
 Чтоб снова бить смогли врагов.*

Юлии Владимировне Друниной, поэтическое становление которой совпало с военным лихолетьем, когда началась война, было всего 16 лет. В патриотическом порыве она пошла в добровольцы, чтоб защищать любимую Родину, но ей отказали. Но с 17-ти лет она уже находилась на передовой – в самом пекле, где самое страшное, отнюдь не женское лицо войны, она смогла увидеть воочию.

В её стихах описано всё то, что она сама пережила, прочувствовала и осмыслила. Многие её произведения о войне лаконичны, точны и ёмки. Что ни стихотворение – то маленький шедевр. «Качается рожь несжатая, / Шагают бойцы по ней, / Шагаем и мы – девчата, / Похожие на парней».

В стихах фронтового цикла она вспоминает и размышляет о предвоенном времени, о счастливой школьной юности. «Я ушла из детства в грязную теплушку, / В эшелон пехоты, в санитарный взвод... / Я пришла из школы в блиндажи сырые / От Прекрасной Дамы в “мать” и “перемать”»...

В каждом стихотворении Юлии Друниной проявляется характерная черта её поэтического почерка – предельная искренность, правдивость и откровенность. Сами посудите, разве могли звучать высокопарные речи у людей, когда они



Элеонора Валентиновна Кузнецова – поэт. Родилась в Москве. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии МОО СП России «Золотое перо Московии». Награждена орденом «За вклад в литературу России XXI века», медалями: «За мастерство и подвижничество во благо русской литературы», «Великий князь Сергей Александрович», «За Победу!», а также Дипломом «Победитель конкурса “Путешествие в страну чудес”» с вручением именной статуэтки в номинации «Поэзия».

Живёт в Москве.



вплотную сшибались в жестокой рукопашной схватке с озверелым врагом. Конечно, только истинно русское, глубинное, родовое «мать-перемать». *«Я столько раз видала рукопашный, / Раз – наяву. И сотни раз – во сне... / Кто говорит, что на войне не страшно, / Тот ничего не знает о войне».*

Её стихи не прикрываются плакатными призывами в блестящем глянце идеологии. Они показывают обыкновенную окопную правду войны. Вот так в известной небольшой поэме «Зинка» она пишет: *«с каждым днём становилось горше, шли без митингов и знамён...».* Эту поэму Юлия Друнина посвятила своей боевой подруге Зинаиде Самсоновой, которая погибла в 1944 году и посмертно удостоена звания Героя Советского Союза. *«Ждём, когда же начнёт светать... / Под шинелью вдвоём теплее / На продрогшей гнилой земле...».*

Юля узнаёт, что у Зины дома только одна мама... И тут их поднимает неожиданный приказ: «Вперёд!» И вот новые жестокие кровопролитные схватки. Батальон попадает в окружение, и Зинка погибает в бою. Юля накрывает её своей шинелью.

В заключительных строках поэмы Друнина мысленно разговаривает с мёртвой подругой, вспоминает о её матери: *«И старушка в цветастом платье / У иконы свечу зажгла. / – Я не знаю, как написать ей, / Чтоб тебя она не ждала».*

А вот стихотворение «Комбат». Никого не может оставить равнодушным к справедливости, к долгу, верности присяге, потому что автор сумел передать исконную сущность русской души – суровой, бескомпромиссной, но и доброй, всепрощающей одновременно.

*Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули –
Всегда стрелял без промаха комбат.
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что... смертью храбрых пали их сыны.
И сотни раз письмо читала людям,
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!*

Война ковала судьбу Юли, а многим судьбы просто изломала. Фронтная юность научила её верности в солдатской дружбе, с предьявлением и к жизни, и к себе более строгих требований, сформировала как поэта с обострённой чувственностью души, со способностью острее ценить неповторимость каждого мгновения жизни и теплоты человеческого сердца.

*Я родом не из детства – из войны,
И потому, наверное, дороже,
Чем ты, ценю я радость тишины
И каждый новый день, что мною прожит.
Я родом не из детства – из войны,
Раз пробираясь партизанской тропкой,
Я поняла навек, что мы должны
Быть добрыми к любой травинке робкой...*

Удивительной силы характер! Представьте только, в одном из боёв 1943 года осколок снаряда входит в шею и застревает всего в паре миллиметров от её сонной артерии, а она просто замотала шею бинтами и продолжила работать – спасать других... очнулась без сознания в госпитале и узнала, что была тогда на волоске от смерти. После излечения её отправили в запас, но она вернулась и продолжала воевать.

Воевала в Псковской области, а затем в Прибалтике, где была сильно контужена.

И 21 ноября 1944 года она была признана негодной к несению военной службы и после демобилизации приехала в Москву учиться в Литературном институте.

Юлия Друнина автор 30 сборников стихов. Была награждена Государственной премией РСФСР им. А.М. Горького, Орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», Серебряной медалью им. А.А. Фадеева и др.

Читая выстраданные строки её стихов, невольно ощущаешь её боль и переживания за судьбу Родины. Она была Секретарём Союза писателей СССР, а также Союза писателей РСФСР и народным депутатом СССР. Она умела любить:

*Не бывает любви несчастной.
Может быть она горькой, трудной,
Безответной и безрассудной,
Может быть смертельно опасной,
Но несчастной любовь не бывает,
Даже если она убивает...
Тот, кто этого не усвоит,
Тот счастливой любви не стоит...*

Читая Друнину, очень часто сдерживать приходится слезу, так откровенны и глубоки её стихи. Не смогла оставаться к ней равнодушной и я, когда сама писала своё стихотворение, посвящённое этой прекрасной женщине.

Талант поэта

*Бывает в творчестве полёт и в даль стремленье,
Пределов нет проплыть моря, пройти пески,
И наступает искромётное мгновенье,
Когда поэт пером ведёт огонь строки.*

*Читателю строка подарит наслажденье,
А может поманить вдруг птицей в небеса,
Излечит словом, пробуждая от забвенья –
Талант поэта проявляет чудеса.*

*Когда в стихах есть звуки музыки душевной,
Что дарят сердцу доброту и красоту,
Становится строка для мира откровенной,
Неся в себе всей правды Божьей чистоту.*



ПОЭЗИЯ

Пётр ГУЛДЕДАВА

Пётр Георгиевич Гулдедава – поэт, член МГО СП России и Академии российской литературы. Автор четырнадцати книг поэзии и прозы. Дипломант и лауреат московских и всероссийских конкурсов. Живёт в Москве.



Время считать цыплят...

Нужно ли корчить теперь из себя недотрогу,
Если на грешном пути нахватал синяков
И поклонялся богам Перуну и Сварогу?..
Только в пятнадцать от даты рожденья годков
Крестное таинство мне осветило дорогу,
Ту, что над Млечным Путём пролегла высоко.
Мне ли не знать, как тонка эта ниточка к Богу?
Мне ли не ведать, как ей оборваться легко?
Мне ли не помнить события тех пертурбаций,
Где я пытался течение судьбы изменить,
Чтобы душа моя, выйдя из реанимаций,
Дальше пыталась хранить драгоценную нить!
Вы одинокому сердцу бродяги поверьте:
Сколько мы нити судеб ни пытаемся вить,
Если иные никчёмные жизни печальнее смерти,
Только святая неволя их может всерьёз оживить!

Я такой у Бога не один,
Но крещён такой же иорданью.
Он как милосердный Властелин
Чутко внемлет каждому дыханью!

Но тоску-печаль Ему несую я,
Только, если сам не смог унять.
Потому что знаю: Бога всеу,
Без нужды не надо поминать!



Знаю я, что дел у Бога много,
И хотя Он благ и вездесущ,
Но порой не лишне и для Бога
Отдохнуть под сенью райских кущ.

Дожди...

Все, наверное, в жизни не раз испытали,
Как, сменяя туманы житейской печали,
Проливные дожди барабанят по стёклам
Одиноко и слепо мерцающих окон.

И с дождями приходит на сердце тоска,
И гнетёт она грешную душу, пока
Под тускнеющей сенью закатного света
Не постигнешь, что ты не один и что это,

Источая печаль за твои неудачи,
И Небесные Силы тоскуют и плачут,
И поймёшь, что, покорные тучам промоклым,
Слёзы Ангелов тихо стекают по стёклам!

Время считать цыплят...

Покуда радость в сердце закипает
Без крошки негативного осадка,
То, кто там говорит, что наступает
Четвёртый год девятого десятка?

Под кровом Божьих храмов и часовен,
Пожалуй, стоит на земле пожить,
Хотя теперь никак я не способен
Кому-то чем-то голову вскружить.

Но, размышляя о душе нетленной,
Я за год стал как будто выше ростом
И отражаюсь в зеркале вселенной
Не более, чем в цифрах сорок восемь!

Осознав, что совершенства
Не достигнешь, не скорбя,
Люди, в поисках блаженства,
Губят мир вокруг себя.

Колесо изобретают,
А за ним – велосипед,



К 100-летию поэтессы

Сибирская история
Юлии Друниной

Документальная повесть
Окончание, начало в № 2(52)



Михаил Иванович Ордынский-Давидов родился 14 января 1954 г. в с. Орда Пермского края. Доцент медицинского университета, к.н. Помимо медицины, 45 лет занимается историей литературы. Член Союза писателей России, автор 12 литературно-художественных книг, 7 документальных повестей о жизни великих писателей «Дуэль Пушкина», «Дело №37», «Бунт души», «Тайна смерти Гоголя» и других, опубликованных в журналах «Москва», «Литературная Пермь», «Урал» и отдельными изданиями, а также многих очерков и статей по истории жизни Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, А.В. Вампилова, П.И. Багратиона, А.А. Алехина и других выдающихся русских людей, опубликованных в журналах «Великоросс», «Наука и жизнь», «Уральский следопыт» и других. Лауреат премии Лермонтова, кавалер ордена Достоевского.

Живёт в Перми.

И в затмении считают,
Что за смертью жизни нет!

Только, если суть движенья
Объяснять высоким слогом:
Смерть – момент преображенья¹
Мира, созданного Богом.

∞3

Я смлада «носил фонари»
За вечные споры и драки,
Но к возрасту – «8» + «3» –
Пришёл, невзирая на знаки.

Расслабиться мне не велит
Желание доброго дела,
Возможно, за то и хранит
Господь моё брненное тело.

Чтоб Божий карающий меч
Не ввёл меня в горькую вечность,
Три года не то, чтобы лечь, –
Стоит «на попу» бесконечность...

И я, под хвалебные речи,
Гашу при сиянье зари
На торте судьбы моей свечи,
Все восемь десятков и три!

«Горец»

На мне нетленной юности печать,
Хоть иногда, по менторским манерам
И вечному желанью поучать,
Кому-то и кажусь пенсионером.

Теперь живу я, как «аристократ»,
Хотя мой путь по терниям сражений
Не столько был триумфами богат,
Сколь горечью утрат и поражений.

Но верю я, как радостному сну,
Что осень жизни обернётся ладом,
Преображаясь в позднюю весну
С её земным прощальным звездопадом.

¹ 19 августа. День Преображения Господня

Мы с Мишей стояли на виадуке и смотрели на запад, в сторону Ялуторовска. Под нами простирались рельсы. Каждая пара рельсов создавала свою дорожку, эти стальные дорожки уходили на запад, постепенно всё более уменьшаясь в размерах и убывая количеством. Сначала их было 6, затем оставалось 5, 4, 3. Наконец, только два узких стальных пути, поблёскивая серебристыми рельсами, уходили вдаль и скрывались в тёмном сосновом лесу.

Вечерело. Ветер успокоился. Тишина опустилась на городок.

Вдруг я отчётливо услышал шаги. Кто-то, пока невидимый в синевато-сиреневой вечерней мгле, с запада приближался к нам. Прошла минута, другая. Из темноты показался женский силуэт. Девушка... Это определённо была девушка. Она приближалась к виадуку, шагая прямо по шпалам. Вид у неё был предельно усталый. Накинутая шаль не смогла полностью закрыть её длинные пышные волосы, раскинутые по шее и плечам. На девушке было скромненькое потёртое чёрное демисезонное пальтецо. Она подняла глаза, полные печали, прямо на нас, стоящих на виадуке. Глаза у неё были выразительные, странного голубовато-зелёного цвета. Необычайный свет лился и лился из этих широко раскрытых глаз.

Удивительно! Темнота не мешала мне увидеть и цвет прекрасных глаз, и этот необычайный магический свет, который, словно прожектор, испарял темноту перед нею.

Она смотрела только на Мишу, своего 16-летнего ровесника, не обращая никакого внимания на меня. А я вдруг отчётливо осознал, что Миша совершенно не видит девушку. Они были одного возраста, но 82 года разделяли их сейчас. Он,

держащий в руках айфон, находился, казалось бы, в безоблачном, беззаботном, цивилизованном, но в действительности – в жестоком, бесчеловечном, порочном и несправедливом 2023-м году, когда в мире рушатся все человеческие ценности; а девушка пребывала в грозном и страшном 1941-м, когда фашизм пытался стереть с лица земли всех нас, славян, в т.ч. и ещё не родившегося, сегодняшнего Мишу. Миша не видел свою ровесницу и не мог пока понять и оценить ни её стихов, ни патриотизма, ни героизма, ибо его мозг был уже затуманен навязанными ложными ценностями. Но если бы не сотни тысяч таких девчонок и мальчишек, как эта девушка, ни меня, ни Миши, ни всех русских на Земле давно бы уже не было.

Конечно, юная девушка не видела виадука, который ещё не был построен в 1941 году. Она свернула с железнодорожного пути и по узкой улочке Ермака прошествовала на свою Полугорную, которая шла параллельно железной дороге и с обеих сторон – с запада и с востока – упиралась в сосновый лес.

Сквозь повернувшие вспять десятилетия я вдруг отчётливо услышал, как девушка подошла к своему деревянному одноэтажному дому, где квартировала вместе с отцом и матерью у местных жителей, и тихо постучала в дверь. В соседнем дворе залаяла собака. Дверь распахнулась, и озабоченный женский голос укоризненно прозвучал в вечерней тиши:

– Где ж ты была весь день, доченька? Мы тебя совсем потеряли.

– Мама, я завтра должна устроиться на работу. Не хочу сидеть у вас на шее.

– Вот это правильно! – послышался уверенный мужской голос. – Тосковать, дочка, сейчас не время. Девочке совсем не обязательно воевать. Здесь, в Сибири, тоже куётся победа. Вона, сколько военных заводов в нашу таёжную Заводоуковку нагнали!

– Папка, милый, ты на меня не сердись. Но я всё равно буду ходить в военкомат и проситься на фронт!

... Я ясно и отчётливо слышал эти голоса, доносящиеся до моего уха из грозного 1941 года. Но Миша их не слышал, а что-то непрерывно совершал со своим айфоном: он жил в мобильном телефоне, точнее, в призрачном нереальном технократическом мире, куда был со всей молодёжью заманен властителями сего мира, которые стремятся электронными средствами управлять современным обществом. А я был мысленно погружён в прошлый мир, в середину кровавого XX века.

И вдруг мы разом, оба, очнулись от своих нереальных миров и вернулись в нашу действительность. Приближалась ночь, а у нас пока не было ночлега.

И мы стремглав спустились с виадука, проскочили мимо полупустого здания вокзала, пересекли просторную Привокзальную площадь, в центре которой разросся островок из 20 сосен, и скорым шагом понеслись по улице Первомайской – центральной улице городка. Около красивого журчащего фонтана мы свернули в сторону типовой «хрущёвской» пятиэтажки, окнами выходящей прямо на Первомайскую. На балконе какая-то старушка, развешивающая выстиранное бельё, цепким взглядом остановилась на наших физиономиях, всматриваясь и негромко говоря сама с собою.

В грязном и обшарпанном подъезде мы быстро поднялись на верхний этаж. Нам даже не пришлось звонить в дверь. Она была широко распахнута, и старушка, которую мы видели на балконе, добрым сияющим взглядом встретила нас.

– Здравствуйте, тётя Таня!

– Привет, привет, Миша! Как я рада! Давно ты обещался приехать в наш Сосноград... А кто это с тобою?

– Это мой внук Миша, – с гордостью произнёс я.

– Внук? Такой большой уже вымахал! Ну, дела! Как быстро течёт жизнь.

Татьяна, добрая простая русская женщина, коренная сибирячка, была очень рада нам. Лицо её было испещрено морщинами, но выглядела она значительно моложе своих 88 лет.

Она была хорошей знакомой моих покойных отца и матери, которые полжизни прожили в соседнем Ялаторовске. Приезжая в гости к родителям, я нередко видел её у них, живущих сначала в бараке на улице Сталина (Революции), а затем – в длинном большом доме №32 по улице Новикова, рядом с автовокзалом и железнодорожной станцией. Она, ожидая автобус или «барыгу», запросто заходила в дом «испить водицы», и добрый весёлый непринуждённый разговор с угощением и чаепитием длился до тех пор, пока Татьяна не спохватывалась и с возгласом: «Ой, ой, сейчас автобус [или „барыга“] уйдёт!!» не срывалась с места, улепётывая.

Я достал припасённую бутылочку настоящего армянского коньяка. Татьяна, живущая одна, принялась выкладывать закуску. И мы, под неприступными взглядами Миши, который уже считал себя взрослым, но мы ему принципиально не наливали, принялись вспоминать моего отца, Ивана Игнатьевича Давидова, мать, Нину Степановну, родителей Татьяны – Любу и её мужа. Отец Татьяны к началу войны отбывал заключение «ни за что» («подумаешь, нож к горлу продавщицы приставил, а денег-то было всего пиисять рублёв») и погиб в штрафном батальоне в первые годы войны.

– Ах, какой хороший человек был Иван Игнатьич! – приговаривала Татьяна, крепкая и плотная старушка. – Ведь всю войну прошёл; от Москвы до Кёнигсберга... Рядовым начал и до капитана дослужился!.. А как он на мандолине да на балалайке играл! Как пел!

И она затянула песню «На кургане» – одну из любимых песен отца. Я, фальшивя, начал подпевать ей.

*Пахнет летом, пахнет мятой,
И над Волгой расстилается туман...
В час свиданий, в час заката
Приходи, мой дорогой, на курган.
Над курганом ураганом,
Всё сметая, война пронеслась.
Здесь солдаты умирали,
Заслоня сердцем нас.*

– У меня, Миша, в голове не укладывается! Ведь Юлька, Юлька наша, заводоуковская, леспромхозовская эту песню-то сочинила! Ай да Друня! Кто тогда знал, что она так далеко пойдёт? Что вся Расея стихи её будет знать! Ай да Юлька! Ай да заморыш!

– Тётя Таня! А сколько лет вам тогда было, когда Юлия Друнина в Заводоуковке жила?

– Да я с 35-го. В начале 42-го года, когда Юльку впервые увидела, мне уже семь годков исполнилось. Да я всё-всё помню. Ну и боевая она была, ну и смелая! С виду тихоня-тихоней, но внутри у неё стержень стальной

сидел, в минуту опасности или когда кто-то друзей её обижал, в ней прямо огонь разгорался. Пылал и пылал, пёр и пёр он из неё. Настоящий она человек была, хоть и годочками для фронта ещё не вышла. По нашим нынешним меркам, Друня-то ведь ещё девчонкой, ребёнком тогда была.

– А помните что-то такое о ней, что в книгах об Юлии Друниной не пишут?

– Мать много о Друне баяла. Вот, сказывала, что она не гнушалась никакой работы. Силёнок мало в ней вроде бы было. Но это только с виду. Она брёвна наравне со всеми бабами переворачивала. Очень старалась. Сначала пилить совсем не умела, а потом научилась – пильщицей хорошей стала. Сучья умеючи обрубала со сваленных деревьев. Хотели её учётчицей поставить, уговаривали. Ни в какую! Баяла: «Не согласна я, плохо математику знаю, ошибусь, людей подведу. Уж лучше я с подружками да бабами лес валить буду». И ведь до самого ухода на фронт простой работницей в нашем леспромхозе робыла!

– А в свободное время чем она занималась?

– Да как его не шипко-то и много было. Когда ей давали выходные, пешком хаживала в Ялуторовск, просила этого старикашку Исупова на фронт её отправить. Да какой ей фронт? Недоросль она была: 16-17 лет. Старикашка тот с виду строгий был, но в душе добрый. Одна беда: он приказов да начальства ужас как боялся. Бюрократишка и перестраховщик.

Подумав, порывшись в памяти, старушка придвинула ко мне морщинистое лицо, карие мутные глаза её вдруг заблестели весело.

– А слухай, Миша, – сказала она. – Друня научила меня зимой скатываться с берега нашей речки Ук на досках, облитых водой.

– Как это?

– Санок-то у нас тогда и в помине не было. А река наша Ук течёт через город в ущелье, горки крутые. Зимой так и хочется скатиться. Пробовали на фанерках скатываться – неудобно, да и ломаются оне. А Друня подсмотрела у «военспецов» – ну, курсантов спецшколы ВВС. И сделала себе и мне такие вот «доски-санки». Брала в леспромхозе брошенные, никому не нужные обрезки толстых досок. Обрезок доски обрабатывала рашпилем да шкуркой, чтобы, значит, гладкий стал. А потом обливала нижнюю поверхность его на морозе водой. Обледенелый, он катил с горы лучше любых санок. Мы с нею да с другими ребятами так катались с горы у Ука. Здесь совсем недалеко это место, за Центральным парком. Сходите. Да и Центральный парк заодно посмотрите. В войну, конечно, там такого гражданского парка-то и не было. Просто было красивое место, баская гора, поросшая соснами. Когда Друня робыла на молокозаводе, а это рядом с парком, она часто туда хаживала. Бродила по тропинкам соснового бора, одна, без кавалеров (она их отшивала), мечтала, вслух рассказывала стихи. Гутарят, что и стишки сочинять Друня тамока начала.

Полночи проговорили мы об Юлии Друниной.

Неяркое, но приветливое сибирское солнце с утра долго, но безуспешно пыталось поднять меня с «раскладушки».

Только в 9 часов я вскочил.

«Засоня!» – обругал себя мысленно.

Тётя Таня уже вовсю возилась на кухне, готовя завтрак. Поздоровавшись, я вышел на балкон.

Передо мною, как на ладони, простиралась вся улица Первомайская, не длинная, но ширины просто необъятной, ничуть не уже Нового Арбата в Москве и Елисейских Полей в Париже, на которых мне приходилось бывать. С балкона верхнего этажа хорошо обозревался и сам город, скоплениями домов раскиданный на большом пространстве. И сосны, сосны, сосны повсюду! Настоящий Сосноград! Город можно было сравнить и с гигантской шахматной доской: чёрно-серые квадраты скопления домов перемежались с зелёными квадратами сосновых рощ, беззастенчиво продолжающих жить своей лесной жизнью прямо посреди городских кварталов.

А улица Первомайская, простирающаяся передо мною, с высоты была очень хороша! Она начиналась от Привокзальной площади гигантской клумбой цветов, перед которой чернел внушительных размеров чугунный герб города – мельничное колесо, пронизанное накрест двумя золотыми стрелами и увенчанное короной.

Далее через всю улицу шла широченная, выложенная каменными плитами прекрасная аллея, по бокам которой красовались клумбы цветов, высаженные деревья и кусты, отдыхали горожане, сидящие в уютных красивых беседках и на широких скамьях. Центральное место аллеи занимал большой фонтан, который высоко в небо пускал прохладные струи, переливающиеся на солнце. В специально отведённых для детворы уголках детей радовали фигуры сибирских таёжных животных, в том числе, большого мохнатого медведя.

И, представьте себе, всё это великолепии дополнительно украшалось двадцатью натянутыми стальными канатами, пересекавшими широкую улицу поперёк, на которых висели треугольные белые, синие и красные флажки (под цвета российского национального флага).

Аллея, в вечернее время подсвеченная белыми сферическими фонарями, упиралась в дворец с красивым фасадом – здание Городской администрации. Проезжая часть была неширокой и примыкала только к одной стороне улицы, а три четверти ширины улицы занимал бульвар с аллеей. Край улицы составляли два ровных ряда 5-этажных красивых домов, многие из которых были нарядно облицованы красными, белыми, синими и другого цвета материалами. Особенно нарядный вид имел дом вблизи Городской администрации, в котором размещалась Школа Искусств.

Вдали, на востоке, всеми пятью куполами сиял на солнце Свято-Георгиевский собор.

Здесь самое время остановиться на истории этого замечательного сибирского городка, который я в душе всегда называл Тайгоградом.

Изначально это был небольшой таёжный населённый пункт, расположенный в окружении дремучих глухих сосновых лесов. Впервые упоминается в летописях в 1729 году как деревня Уковская. Название произошло от реки Ук, правого притока Тобола. Ук протекал рядом с деревней, был полноводным и широким, но в конце XX – начале XXI века, в связи с бесконтрольной вырубкой лесов и изменением экологии, он сильно обмелел. И сегодня Ук, извиваясь, течёт в ущелье через весь современный город, имея ширину не более 20-30 м. В 1740 году в деревне был основан Уковский винокурный завод, появились кустарные промыслы по производству бочек, телег, саней. Через населённый пункт прошёл Сибирский

тракт. Население стало прибывать. В 1787 году деревню переименовали в село Заводоуковское, центр волости. Такое название фигурировало только в официальных бумагах начальства. Народ же упорно называл село Заводоуковкой.

В Заводоуковской волости (ныне – в одноимённом районе) половину территории занимали и доныне занимают глухие таёжные леса, преимущественно сосновые. Нынче на этих обширных лесных пространствах расположены знаменитые охотничьи хозяйства и Комиссаровский заказник. До сих пор здесь водятся медведи, кабаны, рыси, косули, куницы, глухари, тетерева, белые куропатки; очень много волков, лосей, лисиц, зайцев. Немало здесь таких редких животных и птиц, как бобр, горноста, ласка, американская норка, орлан, кречет, сапсан. Однако половину территории волости, особенно районы, расположенные на западе и юге от Заводоуковки, занимали плодородные земли, дававшие высокий урожай сельскохозяйственных культур. В царское время здесь получали знатные урожаи пшеницы, в связи с чем функционировали тысячи мельниц! Поэтому древний герб Заводоуковки, который в 1990-е годы автоматически стал гербом города Заводоуковска, имеет не таёжно-лесной или военно-заводской уклон, а исключительно сельскохозяйственный: «В лазоревом поле серебряное мельничное колесо, пронизанное двумя золотыми стрелами накрест. Щит увенчан короной».

Как это ни печально, но дальнейшее развитие Заводоуковки и превращение села в город Заводоуковск тесно связано с Великой Отечественной войной. В Центре было принято решение: учитывая большое количество соснового строительного леса, построить здесь ряд оборонных предприятий. Окончательное претворение этого плана в жизнь началось в 1941 году, когда по решению Ставки сюда эвакуировали целый ряд важных оборонных предприятий и конструкторских бюро. Всего в Заводоуковске в военные и послевоенные годы было размещено 8 военных заводов. Даже сейчас не все из них я могу назвать из-за их засекреченности. К примеру, в 1960-х годах моему отцу один дальний родственник с радостью сообщил, что после окончания технического вуза он направлен на работу в Тюменьсельхозмаш, и поэтому они сейчас будут чаще встречаться. Через некоторое время выяснилось, что Тюменьсельхозмаш располагается не в Тюмени, а в Заводоуковске и выпускает не сельхозмашины, а боевые ракеты.

Из «разрешённых» к опубликованию в открытой печати военных производств и объектов назову ОКБ-1 Воронежского авиазавода, которое работало в Заводоуковске первые советские реактивные самолеты РМ-1, БИ-1 и БИ-2; авиазавод №499, на котором выпускали военные и учебные планеры, а в дальнейшем части ракет противозенитной обороны; 1-ю Московскую спецшколу ВВС, в которой обучались будущие космонавты В.М. Комаров и Л.С. Дёмин; Заводоуковский машиностроительный завод.

До войны здесь было фактически село Заводоуковка с населением менее 5 тыс. чел., затерянное среди сосновых девственных таёжных лесов (с 1939 года в бумагах село значилось рабочим посёлком, но подавляющее большинство местных жителей и эвакуированных сюда рабочих, в т.ч. и поэтесса Юлия Друнина, упорно называли «посёлок» по-старому – селом Заводоуковкой). В годы Великой Отечественной войны началась массовая вырубка сосновых боров, на их месте с использованием вырубленной древесины возводились жилые дома и бараки и оборонные промышленные предприятия.

Весь современный центр города Заводоуковска и большая часть территории его окраин расположены на месте вырубленных сосновых лесов; здесь раньше, до войны, везде была непроходимая тайга!

Население села (официально – посёлка) быстро росло. В апреле 1960 года посёлок Заводоуковский был преобразован в город Заводоуковск. В 2023 году население города насчитывало 26 тыс. чел. Город бурно развивается и хорошеет, стремительно догоняя соседний Ялуторовск (40 тыс. жителей), где в тяжёлые годы перехода к капитализму по воле ельцинишек и чубайсиков были закрыты все 5 основных заводов. В Заводоуковске же успешно работают все 8 основных промышленных предприятий.

И всё же село Заводоуковка периода 1941-1942 годов – это вам не современный город Заводоуковск!

Посмотрим на Заводоуковку глазами 16-17-летней коренной москвички Юлии Друниной.

Проживало в селе около 5 тыс. местных коренных жителей, к которым прибавилось несколько тысяч эвакуированных рабочих и членов их семей, которые вначале были размещены по домам жителей села. Произошло пресловутое «уплотнение», пока сами же эвакуированные рабочие не выстроили множество двухэтажных деревянных бараков из брёвен и бруса. В этих типовых двухэтажных бараках имелось 2 подъезда на 8 однокомнатных квартир в каждом, т.е. в небольшом бараке жили 16 семей. Комнаты были очень маленькими, водопровода и канализации в бараках не было. Воду носили из колонок, «удобства» были во дворе.

Я хорошо знаком с «прелестями» этих 2-этажных бараков, ибо в Ялуторовске они были абсолютно такими же, как и в Заводоуковске, а мой отец и мать, к которым я приезжал студентом на зимние и летние каникулы, жили все 1970-е годы именно в таком стандартном бараке на 16 квартир на улице Революции (бывшая Сталина) в Ялуторовске.

В 1941 году Заводоуковка представляла собою громадную строительную площадку: леспромхоз рубил деревья, из которых строительные бригады из числа эвакуированных сооружали цеха предприятий и жилые бараки. Прямо посреди населённого пункта оставались леса, где росли грибы, голубика, морошка, малина, прыгали белки, можно было увидеть лисичек и зайцев, а в зимнее время – волков.

Вернёмся к центральной улице современного Заводоуковска – улице Первомайской, которую я красочно описал чуть ранее с высоты балкона пятиэтажки, а затем ежедневно ходил по ней, вкушая мороженое и соки, любуясь красотой «одетого» в гранит прелестного фонтана с его прохладными струями.

А в 1941 и 1942 годах, да и в последующие три десятилетия, улица Первомайская являла собою два ряда двухэтажных стандартных деревянных бараков, между которыми, вместо сегодняшнего бульвара, располагалось обширное пустующее пространство, состоящее из зелёных полянок и истоптанных скотом пыльных площадок. На этом пространстве паслись целые отары овец, важно расхаживали гуси, бегали и лаяли собаки – бродячие и местных жителей.

А ведь это была центральная улица посёлка, а с 1960 года – города!

Вот что пишет Юлия Друнина в 1953 году в своём стихотворении, вспоминая Заводоуковку и её окрестности периода 1941-1942 годов:

*Пахнет бор уходящим летом,
Даже кружится голова.
Вьётся дым над Тоболом.
Где ты,
Мой далёкий город Москва?*

*Здесь повсюду овец отары,
Стаи птиц на речном берегу.
Только снятся мне тротуары
В потемневшем московском снегу.*

*И от этого некуда деться –
Ведь в разлуке любовь больней...
По-особому бьётся сердце
В пестроте городских огней.*

*Хорошо на этой полянке,
Голубика зовёт – сорви!
Только всё же я – горожанка.
Город! Ты у меня в крови.*

Ах, как же она тосковала в сибирской Заводоуковке по своей любимой и родной Москве!

Конечно, упоминаемый в стихотворении Тобол прекрасен, и Юля его очень любила. Эта удивительная сибирская река с живописными берегами, извилистая, вьющаяся широкою голубою лентою с очень быстрым течением и множеством ям и омутов, которые могут вас закружить и утащить в глубину; река, в которой так красиво отражаются облака и деревья, удивительна и неповторима. Но ведь Тобол течёт рядом с Ялуторовском, и Юля на его берегах была не так часто. Но Тобол до сих пор гордится, что в его водах плавала эта величайшая поэтесса!

В Заводоуковске жил и творил замечательный художник, один из самых талантливых пейзажистов Сибири Станислав Сергеевич Попович.

Проезжая на поезде мимо Заводоуковска, Попович был поражён удивительной природой этого таёжного сибирского городка, сошёл с поезда и навсегда остался здесь. Завёл семью. Затем один, без жены, которая пропала без вести, воспитывал троих детей. Этот живописец воспел Заводоуковск. Все его картины посвящены любимому городу. Особенно прекрасны полотна: «Мой город», «Зимний день», «С чего начинался музей», «Вид из моего окна». Живопись Станислава Сергеевича посвящена заводоуковской земле: прекрасной природе, улочкам и закоулочкам Заводоуковска, а также его людям. Создаётся впечатление, что он преклоняется перед теми домами и домишками, которые цепляются за землю своими фундаментами, историями семей, которые в них обитали.

Попович творил в послевоенные годы, писал с природы виды преимущественно старого Заводоуковска, т.е., по сути, ещё села Заводоуковки. Картины этого художника ценны тем, что он запечатлел то военное и послевоенное село, которое видела перед собой, своими глазами Юлия Друнина в эвакуации.

Мы с Мишей на следующий день поле приезда в город посетили местный краеведческий музей, в котором выставлены полотна С.С. Поповича. На одной из картин узрели улицу Первомайскую, по которой только что прошли к музею, и увидели, какой она была раньше – двухэтажные бараки, полное отсутствие асфальта, домашние животные на улице.

Особенно интересна работа Поповича «Вид из моего окна». На картине изображён тот район старой Заводоуковки, в котором проживала в эвакуации Юлия Друнина.

Семьи преподавателей 1-й Московской спецшколы ВВС подсаживали в частные одноэтажные деревянные домики, проще и точнее сказать – избы, в семье местных жителей, которые жили в северной части Заводоуковки, между железнодорожной станцией и сосновым лесом. Это улицы Ермака, Полугорная, Ялуторовская, нынешняя улица Космонавта Комарова.

В архивах и из устных источников я выяснил, что семья Друниных (глава семейства Владимир Павлович – командир взвода, преподаватель истории 1-й Московской спецшколы ВВС, его жена Матильда Борисовна – библиотекарь этой же спецшколы, их дочь Юлия Владимировна Друнина, которой во время проживания в эвакуации в Заводоуковке было от 16 лет 5 месяцев до 17 лет 3 месяцев) квартировала в одноэтажном частном доме – в обыкновенной русской избе – у семьи местных жителей; главой семьи являлась Александра Кузьмовна Брекоткина. Это была порядочная и душевная, ещё достаточно молодая женщина, которая впоследствии несколько десятилетий добровольно ухаживала за могилой Владимира Павловича Друнина. К сожалению, в семье были маленькие непослушные дети, которые вели себя шумно: играли, смеялись, кричали, часто плакали, в том числе, ночью. Поэтому жить в этом частном «чужом» деревянном доме семье Друниных было несладко: теснота, шум, гам.

Друнины, согласно архивным данным, жили по адресу: улица Полугорная, дом 8.

Мы с Мишей через уже знакомый виадук прошли в этот северный микрорайон города, окружённый с трёх сторон красивым сосновым бором, а с южной стороны – железнодорожной станцией. Пройдя виадук, мы шли по улице Ермака, влево отходили улицы Лесная и Космонавта Комарова, Ялуторовский переулок. И вот наконец показалась она – улица Полугорная. Идёт параллельно железной дороге, на расстоянии (по приборам) 425 м от виадука. Улочка состоит из деревянных одноэтажных домов, многие из которых уже трудно назвать избами, ибо они облицованы современными модными материалами.

А вот и он – дом №8. Тот самый, в котором 10 месяцев прожила Юлия Владимировна Друнина. Обыкновенный деревянный дом, которых до сих пор сотни тысяч в нашей необъятной стране. Но этот дом дорог всем нам – людям, которые любят Родину и свято чтут её героев.

А до соснового бора от этого дома было совсем близко – каких-то 200 м. Мы зашли в этот бор и долго бродили между сосен, растущих на опушке. Мы припадали к их стволам и удивлялись: подумать только – они знали Юлию Друнину! Вековые 40-метровые великаны раскачивались верхушками, шумели и всё пытались рассказать нам что-то доброе и светлое о 16-летней худенькой девочке с золотыми волосами и чистыми, ясными, широко раскрытыми глазами.

В конце октября 1941 года Юлия Друнина устроилась на работу кассиром на Заводоуковский молокозавод.

Молокозавод располагался через дорогу от соснового бора, в котором ныне устроен Центральный парк, в районе, где сейчас находится торговый центр «Большой» и парковка перед ним. Он имел основное кирпичное здание и несколько деревянных производственных корпусов меньших размеров.

Напомню, что в то время Заводоуковка была еще фактически селом, располагавшимся в Сибири, в глухом таёжном краю. Грамотных местных жителей было немного. А тут на завод пришла девушка, которая закончила десятилетку. И где – в самой столице! Высококультурная, грамотная, интеллигентная.

– Товарищ Друнина! Разве правильно будет, если я вас заставлю бидоны с молоком таскать? – спросил директор молокозавода и добавил. – А бидоны-то у нас по 30 кг...

– Я готова к любой работе, – ответила Юлия.

– Будете, товарищ Друнина, работать кассиром! – заключил директор, носивший, как и многие другие руководящие работники той поры, полувоенный френч.

– Согласна, – покорно сказала Друня.

Но уже через пару минут её стали одолевать сомнения. В школе она очень не любила математику, в спешке плохо считала, в Москве её уже обсчитывали в магазинах ловкие продавщицы.

Проработала Ю.В. Друнина кассиром на молокозаводе всего полтора месяца и ушла по собственному желанию. Для увольнения были две причины. Во-первых, нелюбовь её к математике и постоянная боязнь ошибиться. Во-вторых, Юля была романтичной, совершенно непрактичной натурой, очень доверчивой девушкой, которую при желании легко можно было обмануть. Она, будучи честным человеком, слишком доверяла людям, считала, что и все люди вокруг неё – честные и порядочные. В воспоминаниях Ю.В. Друнина пишет, что в Заводоуковке «работала сначала кассиром на молокозаводе, потом, поняв, что при моей „любви“ к арифметике, попаду под суд, пошла на лесоповал».

Заводоуковский молокозавод был достаточно большим предприятием, которое в годы войны и первые послевоенные годы успешно выпускало продукцию. Как объяснил нам сотрудник краеведческого музея Л.Н. Басов, в 1960-е годы молокозавод не выдержал конкуренции с гигантом пищевой промышленности Советского Союза – соседним Ялutorовским молочно-консервным комбинатом и прекратил своё существование. Ещё бы! Вся страна тогда знала ялutorовское сгущённое молоко и знаменитые конфеты «Гулливёр»! Здания и производственные помещения Заводоуковского молокозавода снесли в 1970-х годах. И сейчас на месте молокозавода, в центре города, на пересечении улиц Береговая и Шоссейная, недалеко от Центрального парка, высятся два рядом расположенных 4-этажных красивых здания – это торговый центр «Большой». Мы с Мишей посетили «Большой» и были приятно удивлены: здесь прекрасный ассортимент товаров, и все они – высокого качества. Перед торговым центром устроена парковка автомобилей и ещё остаётся большое незастроенное пространство, на которых

в прошлом также размещались строения молокозавода. На краю этой незастроенной территории, фактически уже на улице Первомайской, установлен очень интересный памятник «Заводоуковскому труженику села».

В архиве нашёл я и фотографию корпуса молокозавода, в котором работала кассиром Юлия Друнина. Здание это ветхое и непритязательное, как и многие другие здания Заводоуковки военных лет.

В середине декабря 1941 года Ю.В. Друнина поступила на работу в Заводоуковский леспромхоз обыкновенной рядовой работницей. Она трудилась на лесоповале будучи простой вальщицей леса. В этой должности она пребывала до 3 августа 1942 года, т.е. до самого ухода добровольцем в Красную Армию.

Здание управления леспромхоза в годы войны располагалось совсем близко к дому, где квартировали Друнины.

Надо отметить, что Заводоуковский леспромхоз был знаменит и гремел на всю страну. Он был очень большим и в годы Великой Отечественной войны занимал второе место в Сибири по объёму производства древесины. Первоначально, в 1941-1942 годах, лес валили прямо в черте нынешнего города, затем стали разрабатывать участки в окрестных лесах, благо Заводоуковка и нынешний Заводоуковск на три четверти окружены густыми таёжными лесами. Когда ныне шагаешь по городу, может невольно посетить мысль: на месте вот таких-то и таких-то домов и заводов раньше стоял сосновый лес; а его, вполне вероятно, спиливала бригада, в которой рядовой рабочей трудилась будущая поэтесса Юлия Друнина. Срубленный строевой сосновый лес использовался для строительства деревянных бараков и заводских цехов, а также в очень больших количествах вывозился на запад, в районы СССР, не занятые врагом.

Работали бригадами. Юля вместе с напарницей двуручной пилой пилила ствол сосны или ели у основания дерева, третья работница давила багром или руками на ствол, чтобы он упал в нужную сторону, не задев других работниц. Сосны вокруг Заводоуковска высокие, 40-метровые, стволы их большого диаметра. Поэтому работа на лесоповале была не только тяжела физически, но и опасна! Сваленный ствол дерева обрабатывали – топором обрубали сучья.

Широко известных пермских бензопил «Дружба» (не говоря уж о шведских моделях мотопил) тогда ещё не было и в помине, мужчин в леспромхозе катастрофически не хватало, ибо большинство их было призвано в армию. Работали в основном женщины.

Безусловно, москвичке, девушке, чей возраст тогда составлял от 16 с половиной до 17 лет, работать на лесоповале физически было невероятно тяжело, особенно в первые месяцы. Но Юля не жаловалась на трудности, работала наравне со всеми, не «сачковала». Физически не очень сильная, она была невероятно выносливой и терпеливой.

В лесу, на работе, было организовано горячее питание. Выдавали также хлебные карточки. Однако работа-то была физическая, питания всё равно не хватало. В воспоминаниях Юлия Друнина отмечала, что «на лесоповале работа была адской, жизнь голодной и тоскливой, мои сверстники – “спецы” – казались мне детьми».

«Спец», т.е. курсанты Московской спецшколы ВВС, в вечернее время пытались ухаживать за красавицей Юлей, но она, как правило, отшивала их.

Зима 1941-1942 годов выдалась исключительно холодной. Уже в ноябре выпал снег. Ноябрь в Тюменской области специалистами-климатологами считается уже зимним месяцем, и в тот год он был морозным и снежным. «Мальчишки» – так называет Юля в воспоминаниях курсантов школы ВВС – приехали из Москвы в форменных пилотках и ботиночках. Первую зиму они так и проходили, расправляя пилотки и закрывая ими уши, в последующие зимы курсанты и их преподаватели были снабжены «будёновками» с красной звездой, но в них тоже было достаточно холодно.

В январе морозы достигали -30° – -40° ! Никто не смел отменять работы, все работницы, включая Юлю, трудились в лесу и при таком морозе. Окончательно закоченев, обогревались у разведённых костров, но вскоре по окрику бригадиров снова начинали валить лес. Опоздание на работу даже на 10 минут считалось преступлением, за это могли осудить на 5 и более лет.

А вы, уважаемые историки литературы, живущие преимущественно в Москве и Питере, изучающие жизнь Юлии Владимировны Друниной по строчкам её произведений, ни разу не побывавшие зимой в сосновых таёжных лесах вокруг Заводоуковска, – сумеете ли вы до конца понять и прочувствовать всю тяжесть и суровость её бытия на сибирской земле?!

Юля приехала в Сибирь из Москвы в поношенных ботинках, демисезонном пальтишке и лёгкой вязаной шапочке. С собой она привезла, как самую большую свою ценность, патефон с пластинками.

Начались морозы, и уже в конце ноября она была вынуждена расстаться с самым дорогим, что у неё было. Юля с разрешения (и одобрения) родителей обменяла свой дорожный патефон на обыкновенные сибирские пимы. Ногам стало тепло, а вот душе её стало ещё тоскливее. Она не могла уже слушать свои любимые песни, которые раньше поддерживали её морально.

В леспромхозе рабочим выдавали уже бывшие в употреблении ватные телогрейки, дешёвые шапки-ушанки, комбинезоны, валенки и рукавицы. Юля всё это получила не сразу, по частям. Но к самым сильным январским морозам она уже была полностью экипирована в эту казённую спецодежду. И всё равно выдержать злой обжигающий 30-40-градусный сибирский мороз даже в такой амуниции – настоящее мужество!

Дорогие художники, пожалуйста, не изображайте поэтессу Юлию Друнину в красивом шикарном белом полушубке, она носила в выходные дни свои пимы, а на работе – подшитые старые валенки и замызганную, уже бывшую в употреблении, ватную телогрейку. Такие телогрейки сибиряки и уральцы на местном наречии называют «куфайка». Вот в такой куфаечке я провёл все зимы своего детства в таёжном глухом селе, правда, не в Сибири, а на Урале. В подобных куфайках воевала наша доблестная Красная Армия, которая в осенние и зимние месяцы на 71% была экипирована именно таким образом. В такой куфаечке воевала и Ю.В. Друнина в 1943-1944 годах. А кто не верит, найдите в Интернете знаменитую фотографию санинструктора Друниной, перевязывающей раненого бойца, и сможете убедиться в этом сами.

Слава ей, нашей тёплой, удобной и прочной сибирской ватной куфаечке!

Мой отец, Иван Игнатьевич Давидов, инвалид Великой Отечественной войны, награждённый двумя боевыми орденами и 4 медалями, капитан-артиллерист, начавший войну в октябре 1941 года под Москвой, участвовавший в боях за Ригу и закончивший войну в Кёнигсберге, однажды вернулся с очередной встречи однополчан, которые часто проводились в советское время. Я не помню, где точно проходила та встреча. А я приехал тогда на каникулы к родителям в сибирский городок Ялуторовск, обучаясь в Пермском медицинском университете.

Отец возвратился возбуждённый и сияющий. Конечно, встреча с боевыми товарищами его очень обрадовала. Но была ещё одна причина, по которой он был в необычно приподнятом настроении.

– Нина! Перед нами выступала САМА Юлия Друнина! – торжественно, приподнято заявил он.

Мать спокойно и, как мне показалось, достаточно равнодушно посмотрела на него. Но отец, который несколько десятилетий преподавал в школе литературу, а в последние годы ещё и историю, знавший наизусть многие стихи Ю.В. Друниной и бредивший ею, никак не мог успокоиться. Вновь и вновь начинал он рассказывать нам о выступлении Друниной перед ними, участниками войны.

И когда хорошая знакомая нашей семьи Татьяна навестила нас, отец, едва гостя перешагнула через порог, в возбуждении выкрикнул:

– Таня! Я на днях видел Друнину; она читала нам, ветеранам, стихи!

– Ты видел Друню?! – переспросила Татьяна, и глаза её засияли непритворной радостью.

И отец сбивчиво, возбуждённо начал рассказывать ей о встрече ветеранов полка с поэтессой. Но для Татьяны Юлия Владимировна была не знаменитым литератором, а Друней – старшим товарищем, незабываемым свидетелем её сурового военного детства. Она жадно внимала рассказу отца.

– А я ведь с ней виделась у нас, в Заводоуковске. Она приезжала из Москвы с маститыми писателями и поставила своему отцу в «чёрном бору» памятник. Дорогой, красивый! – сказала Татьяна. – И ничуть она не загордилась от славы своей. Погумарили мы славно втроём – Друня, мамка и я. Однако к нам домой она не зашла; сказала, мол, ждут их в Тюмени на творческую встречу.

Когда прощались, отец сказал Татьяне:

– Скоро я к вам приеду... Ждите.

Мать удивлённо и неодобрительно посмотрела на него. Отец имел 8 детей и был очень активным мужчиной.

– Мне надо опросить Любку. Хочу о Друниной заметку в газету «Ялуторовская жизнь» настроичить, – пояснил матери отец. – Через недельку съезжу на денёк.

Но уже на следующий день он собрался и уехал в Заводоуковск.

«Любкой» он назвал мать Татьяны, которая всю жизнь работала в Заводоуковском леспромхозе и в годы войны была наставницей и напарницей Друниной на лесоповале. Это была сложная, конфликтная, смелая женщина, не боявшаяся начальства и всегда прямо в глаза говорящая всем правду. Она являлась заметной личностью в Заводоуковске, и весь городок её знал и называл только так – «Любка». Она имела недостатки и не была похожа

на большинство горожан. Но почему мы должны быть похожи на других и стесняемся быть такими, какие мы есть на самом деле?!

Вскоре я уехал на учёбу, а через несколько лет, после того, как мне самому удалось в Перми увидеть «живьём» знаменитую поэтессу, спросил отца:

– Ну, как ты тогда съездил в Заводоуковск? Написал заметку о Друниной?

Он нахмурился, долго молчал, а потом выпалил:

– Козлы они все!

– Кто?

– В редакции... Любку я опросил, всё записал. Вот тут у меня целая папка воспоминаний Любки о Друниной, – и он достал с полки серую папку и потряс ею перед моим носом. – А эти чмыри болотные не захотели печатать заметку... Редактор заявил, что, мол, советским читателям интересна Друнина, с оружием в руках побеждающая фашистов, а не та несовершеннолетняя работница, которая в тылу пилит лес в нашей тюменской тайге. Чего, мол, в этом героического?.. И даже заметку, гады, мне назад не отдали. А я сейчас не смогу уже так складно написать.

И отец, гневно сверкнув глазами, закинул папку обратно на полку.

Шли годы.

Погибла смертью храбрых Юлия Друнина, в знак протеста решительно покончив с собой в ноябре 1991 года, когда душа её взбунтовалась против врагов России – Горбачева, Ельцина, чубайсиков, гайдарчиков и им подобных нечистей, предавших Россию и участников Великой Отечественной войны, многие из которых отдали свою жизнь за Победу.

Умер в 2001 году мой отец, майор запаса И.И. Давидов, четырежды раненный в боях с гитлеровцами.

И через несколько месяцев, разбирая бумаги отца, мать передала мне, наряду с другими документами и материалами, ту заветную папку, которую я храню уже два десятка лет.

И вот я снова держу её в руках.

«Юлия Друнина» – крупно выведено рукою отца на обложке серой тонкой картонной папки.

Десятки раз я уже читал пожелтевшие от времени листы бумаги, уложенные в папку. Листочков, исписанных размашистым почерком отца, немного – всего 10. Это черновой текст, состоящий из вопросов отца и записанных им ответов «Любки», матери Татьяны. Ответы записаны наспех, часто дословно, но иногда приблизительно, литературно не обработаны. Жаль, что итоговая статья отца (а он всегда тщательно работал над текстом) была утеряна в редакции газеты.

Повторить слог отца, учителя литературы с почти 50-летним стажем, мне, врачу с 48-летним стажем, но весьма скромному по литературному таланту, конечно же, не удастся.

Однако попробую всё же изложить наиболее важные темы беседы отца и напарницы Ю.В. Друниной по работе на лесоповале. В некоторых случаях, я думаю, уместно будет обратиться к воспоминаниям самой поэтессы, более подробно раскрывающей или поясняющей некоторые эпизоды воспоминаний работницы Заводоуковского леспромхоза.

И.И. Давидов в черновых записях именуется напарницу Ю.В. Друниной просто «Любкой» или «Любой», как называл её в разговорах. Но я уверен,

что он, конечно, знал её фамилию и отчество и именно так представил в заметке, написанной в газету.

В черновых записях отец пишет, что Друнина стала напарницей «Любки» в середине зимы первого года войны («где-то с конца декабря 1941 года»). В первый день она показала Любке никчёмной девчонкой – бесильной, ничего не умеющей и совершенно неспособной к работе на лесоповале. «И на што это таких пигалиц на лесоповал-то принимают? Чтобы зайцы над ними ржали?» – ворчала Любка в первые дни совместной работы. Узнав, что Юля – москвичка, сибирячка стала ещё больше ехидничать над ней. «Она вначале и пилить-то толком не умела: надо пилу на себя тянуть, а она вперёд её толкат, дура душой. Да и сучья обрубить не умела, топор-от никогда в руках-то не держивала». В словах напарницы проскальзывали и нотки жалости: «Ох, и тяжко ей было споначалу, одно слово – москвичка, белоручка, неумёха, да ведь на хлеб-то как-то надо было зарабатывать, штоб с голоду ноги не протянуть».

Но вскоре в рассказе тёти Любы, записанном отцом, появляются и возгласы одобрения и похвалы. Она отмечает, что постепенно Друня выучилась и неплохо пилить, и обрубить сучья. «Силёнок в нея было немного, но выносливая и упорная была – прямо жуть!». Скоро в бригаде все Друню полюбили, главным образом за то, что она была честной и правдивой, никогда никого не пыталась обмануть. Она со всеми была доброжелательна, приобрела подруг. «Прозвище „Друня“ ей очень подходило, оно и самой ей шипко нравилось. Все, кто её знал в леспромхозе и на селе, звали её не по имени, а только так – Друня!»

«Она была скромняга, немногословна, с виду – тихоня, но характер – желез!» – читаю я одно из высказываний тёти Любы о Ю.В. Друниной.

К весне «Любка» и Друня подружились. Юля стала более откровенной в разговорах с напарницей.

И.И. Давидов достаточно путанно приводит рассказ Юли напарнице о своём случае с бантом, произошедшем в Москве в раннем детстве. Поэтому приведу этот интересный эпизод словами не «Любки», а самой Ю.В. Друниной, которая так описала его в собственных воспоминаниях:

«Мне не больше 4-5 лет. Конец двадцатых годов. Страна ещё освещена заревом Гражданской войны и революции. У нас, мелкоты, самым ругательным словом считается “буржуй”. Буржуиством называется и любое “украшательство” в одежде. А тут мать по случаю прихода гостей решила водрузить на мою голову громадный белый бант! Я упорно сдёргивала со своих коротких вихров это позорное украшение. На помощь был призван отец. Он укрепил бант таким хитроумным узлом, что сдёргнуть его я уже не могла.

Покориться? Не тут-то было! Я схватила ножницы – и роскошный бант полетел на пол вместе с тощим хохолком.

До сих пор помню огорошенные лица взрослых и то чувство восторга, смешанного с ужасом, которое охватило меня тогда. Я не дала водрузить неприятельский флаг!» «Вот какой характер был у Друни уже в четыре годика!» – так записал И.И. Давидов комментарий Любки после этого рассказа Ю. Друниной.

Уже где-то летом 1942 года 17-летняя Юля доверительно и откровенно рассказала старшей подруге о своих чувствах к мальчикам и мужчинам.

Они разговаривали о любви; «о мужиках», как сказала простоватая сибирячка. Любку очень влекло к своему мужу, который был грубым и резким человеком, но сильным «мужиком». Перед войной его посадили за разбой: он вошёл вечером в поселковый магазин, приставил нож к горлу продавщице, которая безропотно отдала ему всю выручку. Муж к началу войны сидел, но попросился в штрафной батальон, где вскоре и погиб, проявив храбрость. Любка его и любила, и боялась; он однажды сказал: «Если изменишь, обрублю топором обе руки!»

Юля с юмором рассказала сибирячке о своей первой детской «любви». Было ей тогда всего лишь 11 лет. Вдруг на неё впервые нашло какое-то состояние безнадежной влюбленности. Предметом неосознанной страсти оказался московский школьник по имени Игорь, который не обращал никакого внимания на худенькую Юлю. И девочка, чтобы привлечь его внимание к себе, взяла отрывок из «Кавказского пленника» А.С. Пушкина и переписала его, заменив пушкинское слово «русский» на «Игорь».

*Ах, Игорь, Игорь, для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебе навек я отдалась?*

Далее следовало ещё несколько довольно забавных строчек.

Она переслала это стихотворение Пушкина-Друниной обожаемому мальчику. Но если Игорь жестоко посмеялся над школьницей, то подружки, прочитав записку, были в восторге от «поэтического таланта» подруги, не подозревая, что это – изменённые строчки известной поэмы А.С. Пушкина.

«Это не любовь, а детские шалости! – резюмировала Любка. – Ведь ты с этим пацаном даже не целовалась. Похоже, Друня, ты никого ещё по-настоящему и не любила!»

Юлия немножко обиделась, полдня молчала, а потом вдруг её словно прорвало, и она вечером после работы подробно рассказала старшей подружке о своей настоящей любви, которая оказалась тесно связанной с её боевым крещением и первым фронтовым опытом.

И.И. Давидов пишет: «Любовь внимательно, почти не прерывая напарницу, слушала тот рассказ Друни, когда она, направленная рыть противотанковые траншеи, вдруг оказалась в рядах действующей армии и вскоре почувствовала запах пороха и дыхание смерти. У дивизии ополчения, к которой она самовольно примкнула в качестве сандружинницы, вооружение было аховое. Некоторые ополченцы вообще шли невооружёнными. В Москве им сказали: “Достанете оружие в бою!”. Канонада на западе, куда двигались ополченцы, не пугала Юлю. Она воспринимала её, как погромы-хивание молотами по наковальне. К слову, в первые дни боёв пролетающие шальные пули она принимала... за “посвистывание лесных пичуг”.

В первую ночь, когда дивизия ополчения колонной двигалась на запад по лесной дороге, Юля совершенно не испытывала страха. Это, по её словам, была “детская смелость неведения”.

Страшное началось утром. По пешей колонне ополченцев немцы внезапно ударили из миномётов. Чёрный столб с грохотом поднялся недалеко от Юли. За ним – второй, третий.

Юля не растерялась и принялась перевязывать раненых – одного, второго, третьего. И вдруг услышала крики: “Танк! Танк!”».

И вот здесь внезапно её охватил страх. Как оказалось впоследствии, танк-то был даже не немецким, рядом с Юлей промчался на врага наш танк.

«Друня об этом честно призналась Любке, и та долго заливисто ржала, не унимаясь и тыча в Юльку пальцем. А ведь могла девушка этот факт скрыть, не рассказывать. Здесь видна правдивость и честность Друни, – пишет И.И. Давидов. – Продолжающиеся разрывы мин, крики „Танк!”, бегущие в испуге в лес ополченцы – всё это вместе взятое внезапно так подействовало на психику московской девочки, что её обуял животный, неуправляемый страх!.. И она в панике бросилась в лес и долго-долго бежала в неизвестном направлении, спотыкаясь и падая, не чувствуя боли от ушибов, и только молила: „Господи! Если ты сделаешь чудо и оставишь меня живой, я никогда, никогда не сунусь больше в этот ад!” Юля потеряла дивизию ополчения и наугад одна брела по лесу».

Далее И.И. Давидов правдиво вспоминает свои ощущения некоторой боязни во время первого боя в октябре 1941 года под Москвой, приводит эпизод страха, испытанного в первом бою Львом Толстым (писатель передаёт свои ощущения через панический страх Николая Ростова, прототипом которого в «Войне и мире» являлся). И делает вывод, что в первом бою почти все новички испытывают страх. Задача – усилием воли преодолеть его.

У отца не записан эпизод первой встречи Юлии Друниной с комбатом стрелкового батальона, с человеком, в которого она впервые в жизни по-настоящему влюбилась.

Но эта встреча, произошедшая после того, как она потеряла свою дивизию ополчения и заплутала в лесу, хорошо описана в послевоенных воспоминаниях самой Юлии Друниной:

«То приближались, то удалялись автоматные очереди и винтовочные выстрелы... А затем всё стихло. Поняв, что выдохлась, замедлила шаги. И тут услышала родное: “Стой! Кто идёт?”

Я оказалась в расположении пехотного полка. Меня отвели на КП батальона. Комбат – светлые глаза на кирпичном лице, острые углы скул, твёрдая линия рта и неожиданная ямочка на подбородке – заставил меня подробно рассказать обо всех моих приключениях, особенно о танке. Потом землянка затряслась от дружного хохота. Оказалось, что я... приняла свой танк за фашистский!

– Ну вот что, доктор! – сказал, отсмеявшись, комбат. – Своих ты всё равно потеряла, оставайся с нами. Будешь одна за весь санвзвод. А сейчас спи.

В первом же бою всё сложилось совсем не так, как я себе представляла. ...Вокруг с грохотом выросли чёрные кусты и столбы. Грохот от разрывов был глуше, чем грохот выстрелов. Поэтому сначала я бросалась на землю, когда били свои миномёты, и не обращала внимания на вражеские мины. То и дело приходилось останавливаться, чтобы перевязать раненого.

Только нашла своих, цепочки снова поднялись и побежали вперёд. Чтобы опять не потеряться, решила не отставать от комбата – высокий, с пистолетом в руке, он легко бежал впереди всех и был хорошим ориентиром.

Грохот усилился. Я потеряла счёт раненым.

Как-то механически, словно заведённая, наскоро перевязывала очередного упавшего бойца, а потом искала глазами комбата – он продвигался вперёд то короткими, то длинными перебежками – и догоняла его.

Так получилось, что комбат, его ординарец и я (я – только от страха снова потеряться) первыми влетели в деревню. В хате, куда мы ворвались с ходу, прижавшись к стене, поднял кверху дрожащие руки немецкий солдат, оказавшийся санитаром. Раненный в ногу, он не смог уйти. Его санитарная сумка почему-то была набита не бинтами, а... сахарным песком.

Со странным чувством ненависти и жалости смотрела я на этого беспомощного, немолодого человека. И вздрогнула, представив, что было бы со мной, попади я к ним в лапы...

Тяжёлая рука комбата опустилась мне на плечо:

– Холодно, сестрёнка? Погрейся.

Он протянул мне фляжку. Не поняв, что там водка, я отхлебнула большой глоток и страшно закашлялась. Кругом добродушно рассмеялись.

Нужно было подумать об эвакуации раненых в тыл: проследить, чтобы санитары-носильщики не забыли ненароком кого-нибудь, постараться организовать повозки, и я выскочила из избы».

Обращаю особое внимание читателей на важнейшее обстоятельство. При первом миномётном обстреле Ю. Друнина, 16-летняя московская девчонка, вполне естественно, испытала жуткий страх. Но она нисколько не стыдится его, первой из отечественных поэтов позднее честно и правдиво написав: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».

Но что важно: Юля быстро поборолла в себе этот страх и уже в следующем бою проявила героизм – при контратаке она одной из первых ворвалась в деревню, которую батальону удалось отбить у фашистов. И что характерно, Юля не только не выпячивает свою храбрость, она, как человек очень скромный, пытается скрыть её. Объясняет то, что одной из первых под огнём ворвалась в занятую немцами деревню тем, что... пыталась-де не отстать от комбата, «чтобы не потеряться».

Поразмышляв об искренних и правдивых воспоминаниях поэтессы, я снова читаю строчки И.И. Давидова на пожелтевших листочках, уложенных в папку с надписью «Юлия Друнина»: «Стрелковая дивизия в конце сентября попала в окружение... Я хорошо знаю, что это такое. В конце октября 1941 года в этих же местах под Москвой наша дивизия тоже попала в кольцо. Со всех четырёх сторон нас окружили немецкие части. Это был ад! В батарее почти закончилась пища, ели одни сухари. У нас было артиллерийское орудие – я был наводчиком, и мы не имели права оставить его врагу. За это полагался расстрел! Вот так, с орудием, отстреливаясь, мы с боями пробивались через вражеское кольцо. Я был легко ранен, но оставался в строю. Когда мы вышли к своим, от дивизии осталась только четверть бойцов. Остальные остались навечно лежать в Можайских лесах. А пушку мы сохранили, и ещё два года били из неё по врагу, пока её вдребезги не разбил прямым попаданием немецкий танк. Но тогда я уже служил командиром батареи из 4 пушек.

...Юлия Друнина рассказала напарнице Любке о физических лишениях, испытанных ею и товарищами в окружении. Плутание в лесах, бесконечное пешее передвижение, огромная усталость, голод и жажда. Ребята прикончили последние сухари, жевали какие-то корни, грибы и ягоды. У Юли чувство голода было слабей, чем у солдат. Но её все время мучила нестерпимая жажда.

Юля рассказала, что целых 13 суток, 13 долгих дней и ночей, их стрелковый батальон выходил из окружения. Солдаты вместе с Юлей, ведомые

комбатом, шли, ползли, бежали, нередко натыкались на немцев, отстреливаясь, теряя в перестрелке боевых товарищей. Их гнала на восток одна страсть – пробиться к своим!

– А боялась ты немцев тогда, в окружении? – спросила Люба у Юли.

– Очень. Был страх обнаружить себя и товарищей. Однажды немец недалеко от меня с дороги зашёл в кусты, чтобы сходить «по-маленькому». Я спряталась и ни жива, ни мертва лежала от него всего лишь в 3-4 метрах. До сих пор дивлюсь, как он меня не заметил. Казалось, что немец смотрит прямо на меня и хорошо видит. Сердце стучало у меня часто-часто. Но – пронесло... Я в окружении очень боялась быть пойманной немцами и изнасилованной, замученной».

Я отрываюсь от папки отца, беру книгу воспоминаний Ю.В. Друниной и читаю: «У нас всех был панический ужас, ужас перед пленом. У меня, девушки, он был ещё острее, чем у мужчин. Этот ужас здорово помогал мне, потому что был сильнее страха смерти».

И снова читаю записи отца, который опрашивал напарницу Юлии:

«– Люба! Расскажите мне, пожалуйста, без утайки, об отношениях Юлии и комбата. Она действительно любила его? А он её? Была ли между ними сексуальная связь или это была чисто платоническая любовь?»

– Это была настоящая, чистая, первая любовь Юли. Она её сначала от комбата скрывала. Да разве любовь скроешь? А комбату она, видимо, тоже сильно понравилась. Но какое время было тогда, помнишь? Парни по году ухаживали, чтобы девушку завоевать. А до свадьбы никакого секса не допускалось. Поэтому ничего у них не случилось. Только поцеловал он её однажды, за день до выхода из окружения.

– А как звали комбата? В стихах ведь она его не называет по имени.

– Его звали Василь.

– А фамилия?

– Фамилию она не назвала. Только знаю, что он был белорусом... Говорила – высоченный, мускулистый, красивый. Глаза голубые, ямочка на подбородке, русые волосы. Красавец! И очень смелый, решительный, волевой... Он её тоже полюбил. Но война разрушила их счастье. Погиб он, прямо на её глазах погиб.

– Тосковала она о нём?

– Ещё как! Иногда и всплакнёт, когда вспомнит.

– А парни заводоуковские за ней ухаживали?

– Ещё как ухлястывали! Друня же красавица была! Таких в нашей Заводоуковке мало было. А она ведь не только красивая была, но и шипко умная, добрая и порядочная. Одно слово – Друня! Она для мужиков – настоящий клад. Все от неё без ума были, желали замуж взять. Однако только с девушками и женщинами она дружила, а молодых мужиков, которые к ней подмазывались – сразу отшивала, грубо, резко. На язычок она в таких случаях остра была. Но, матушка, никогда не материлась. Ни одного грязного слова я от неё ни разу не слыживала».

Я оторвался от записей отца. Притянул к себе книгу воспоминаний Друниной «С тех вершин», нашёл нужное место и вновь, наверное, уже в двадцатый раз перечитал строчки Друни о своей первой любви и трагической гибели своего любимого, которого она помнила всю последующую жизнь:

«Мне помогала вера в комбата, преклонение перед ним, помогала моя детская влюблённость.

Наш комбат, молодой учитель из Минска, действительно оказался человеком незаурядным. Такого самообладания, понимания людей и таланта молниеносно выбрать в самой безнадёжной ситуации оптимальный вариант я больше не встречала ни у кого, хотя повидала немало хороших командиров. С ним солдаты чувствовали себя как за каменной стеной...

К “дырке” в немецком переднем крае комбат привёл только девять окруженцев. Остальные либо остались лежать в лесу, либо, раненные, были пристроены в глухих деревнях у жалостливых солдаток.

“Дырка” эта оказалась... минным полем. Конечно, мы приуныли.

В начинающихся сумерках комбат внимательно разглядывал запорошенную первым ранним снежком землю, потом решительно шагнул вперёд. Мы замерли. Комбат сделал ещё два осторожных шага, потом вдруг... стал приплясывать на месте. У меня оборвалось сердце. А комбат сказал вполголоса, очень буднично: “Всё в порядке, ребята. Мины-то противотанковые. Для них вес человека – что вес мыши... Подождём ещё полчаса, пока стемнеет, и айда к нашим”.

Мы... договорились о порядке перехода через нейтралку. Я должна была идти посередине, комбат замыкающим.

Всё было спокойно, мы пошли в полный рост. Минное поле кончилось, земля стала гладкой...

И когда мы считали себя уже в полной безопасности, немец бросил мину – может, и случайную.

Она разорвалась почти посередине нашей цепочки. Те, что шли впереди, остались без единой царапины. Три человека, в их числе комбат, были убиты наповал...

Мина, убившая комбата, надолго оглушила меня. А потом, через годы, в стихах моих часто будут появляться Комбаты...»

Юля всю войну вспоминала погибшего комбата, тосковала о нём.

В её военных стихах вновь и вновь перед нами предстаёт образ Комбата. Это чаще всего уже собирательный образ, а не конкретный человек. Но, выводя этот образ в своих стихах, Друня всегда думала о нём – погибшем любимом человеке.

Пронзительны и вызывают озноб строчки Ю.В. Друниной в стихотворении «Комбат»:

*Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули –
Всегда стрелял без промаха комбат.
Упали парни, ткнувшись в землю грудью,
А он, шатаясь, побежал вперёд.
За этих двух его лишь тот осудит,
Кто никогда не шёл на пулемёт.
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что... смертью храбрых пали их сыны.
И сотни раз письмо читала людям
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!*

«– А что за контузия у неё была? Какие-то последствия её потом были? – задает вопрос Любе И.И. Давидов.

– Она сказывала, что мина разорвалась шипко близко к ней. Её сильно оглушило. Она пяток минут была словно в тумане, и слова оставшихся в живых товарищей до неё плоховато, глухо доносились. Но все осколки мины ушли в одну сторону, кзади, а все бойцы, идущие в цепочке спереди, остались живы. Ни один осколочек её не зацепил. Друня, однако, сказывала, что после разрыва мины была словно оглушённая, не в полном сознании, действовала как “автомат”. Поэтому и смерть Василя она восприняла сначала не так остро. А потом, когда уже вышли к своим возле Можайска, где “окопники”, в том числе, её знакомые московские девочки, рыли противотанковые траншеи, она упала на траву и долго лежала, закрыв лицо руками, рыдая. Еле успокоили тогда её, матушку... А последствий той контузии у неё, по-моему, никаких не было. На головные боли здесь, в Заводоуковке, ни мне, ни кому другому она не жаловалась, была здорова.

– А это правда, что она пешком ходила в Ялуторовский военкомат? И сколько же раз она туда ходила?

– А как же было добраться-то до Ялуторовска в войну? Только пешком. Ведь в поезда да в эшелоны нашего брата не пускали, туда надо было специальные проездные документы предъявить. А кто нам их даст-то? Законы военного времени! Всё строго! Шпиёнов да диверсантов всюду искали. Вот и топала она пешедралом 25 вёрст в одну токо сторону... А скоко разочков ходила? А я считала? Раза три, а, скорее, четыре точно ходила. Всегда уходила весёлая, с надеждой в душе, а, возвратившись, печальная была. „Дак как, матушка, сходила-то?“ – бывало спрошу её. – „Плохо, Люба. Ничегошеньки опять не вышло. Упёрся военком – не могу, мол, женщин на фронт отправлять, разнарядки на женский пол нету”.

Мы, бабы, отговаривали её от этой затеи: „На кой тебе, матушка, на фронт энтот идтить? Да под пули лоб подставлять? Дак и не бабье это дело – война. Пусть мужики воюют!”

А она гутарит одно:

– Не хочу в тылу отсиживаться! Сколько немцы наших перебили, Василя моего убили, Москву мою родную едва не захватили. Я медсестрой могу воевать. Я ведь хорошо научилась раны перевязывать, кровь останавливать. Бабоньки, не могу я без фронта. Я, как Василя моего убили, этих гадов, фашистов, просто ненавижу!

– А в Ялуторовске куда она ещё ходила? Где ночевала? Или сразу обратно шла домой?

– Дак где в вашем-то Ялуторовске переночуешь? Когда в переднюю дорожку сильно уставала, сил не было на обратный путь, отсиживалась в вашем железнодорожном вокзале, в зале ожидания. Там и ночью, бывало, отсыпалась. Там и согревалась перед обратной дорогой зимой. А летом, когда тепло да ведро было, часто она хаживала в сад возле церквушки вашенской, Успенско-Никольского храма. Он в войну действующий был. Правда, она неверующая была, не молилася. Возле погоста, в саду, отдыхала. Там тишина, покойно, деревья листочками шелестят, на скамеечке или прямо на травке можно посидеть или полежать, силы поднакопить на обратную дорожку... А одинова она мне сказывала, что увидела тамока, на погосте возле церквушки, братскую могилу красноармейцев и революционеро-бедняков, которые в 1921 году подавляли кулацко-эсеровский мятеж.

Кто-то ей из местных комсомольцев рассказал, что восставшие кулаки вспарывали животы красноармейцам и коммунистам и туда сено набивали, намалевав на плакате: «Продразвёрстка выполнена». У всех 30 трупов, привезённых из-под Ишима, были выколоты глаза, отрезаны уши, носы и интимные органы, переломаны кости. Страшно!.. Друня-то не чета нам, неотёсаным бабам, была. Активная, идейная, комсомолка, за Советскую власть горой стояла, буржуев и кулаков ненавидела. Гутарила, что на всей Земле социализм и коммунизм скоро построят! И, главное, верила в то! Да если бы все люди на Земле были такими, как Друнина, мы бы давно при коммунизме жили!»

Этими прекрасными словами, сказанными о Друне её напарницей Любой, заканчивалась последняя страничка записей отца, уложенных в серую папку с надписью «Юлия Друнина».

Закрыв я папку, отложил в сторону, задумался.

Тяжела тогда, в 1941-1942 годах, была жизнь людей в Заводоуковке: адский 10-12-часовой труд, холод, голод, печальные вести с фронта о сдаче врагу городов, похоронки.

Однако в тёмные времена хорошо видно светлых людей. И Юлия Друнина, прожившая в Заводоуковске лишь 10 месяцев, навсегда оставила яркий след в истории этого славного таёжного сибирского города.

А наша с Мишей жизнь в современном Заводоуковске продолжалась.

Вечером за ужином Татьяна, приютившая нас, вспоминала:

– Тётя Юля очень любила собак! И вообще всех животных – кошек, коров, овец. В войну мы жили в крохотной комнатке в 2-этажном бараке. Получили её, когда ещё не посадили папку. Ещё при отце мы завели красивую сибирскую лайку по кличке Бобик. Во дворе у всех жильцов были сараюшки, где в погребах хранились овощи да картошка. Скажу напрямки: без картошки мы бы в войну просто не выжили!.. А рядом с сараем у нас была конура, где жил Бобик. Соседи держали дворнягу по кличке Князь – маленькую чёрненькую собачку. Юля, приходя к нам с мамкой в гости, во дворе любила играть с этими собачками, подавала им разные умные команды, бросала палки, которые они обязаны были ей приносить.

Вообще, в Заводоуковке тогда были в основном дворняжки, а охотники держали сибирских лаек. Было немного овчарок. А всяких там бульдогов, боксёров, мопсов и, тем более, современных бультерьеров и ротвейлеров тогда и в помине не было.

Я вдруг вспомнил стихи Друниной о собаках и с ходу декламировал их:

*Люблю я собак, но не всяких, однако, –
Люблю, чтобы гордость имела собака,
Чтоб руки чужим не лизала она
И чтобы в беде оставалась верна.*

Я декламировал, видимо, слишком пафосно и напыщенно. Явно не к месту.

Татьяна скорчила гримасу, издевательски похлопала мне в ладоши, сказав:

– Я так не умею.

Я покраснел, а она продолжила:

– А ещё Друня любила лошадей. Это было её страстью! В леспромхозе тогда лошадей было раз в сто больше, чем тракторов и «полуторок». Даже лес часто возили на лошадях. В короткие минуты отдыха Юля, бывало, выпрашивала верховую лошадь у бригадира, довольно ловко запрыгивала на неё и с некоторой осторожностью каталась по какой-нибудь большой поляне или по опушке леса. Мамка сказывала, что часто в лесу в ту пору можно было увидеть лис. Друня всегда восторгалась:

– Смотрите, девки, лисичка. Да какая хорошая!

Татьяна рассказала, что в годы войны в лесах вокруг Заводоуковки водилось много зайцев и белочек, которых Юля тоже обожала.

Удивлялась огромным отарам овец, которые паслись прямо в центре города, на улице Первомайской, на больших зелёных лужайках, существовавших в то время между двумя рядами 2-этажных барачных домов.

– Миша! – обратилась Татьяна к моему внуку. – Ты Федю, мальчишку с первого этажа, назвал «чуваком». Я сама слышала. Не делай больше такого. Парень постарше и поздоровей может тебе за это слово в лоб дать!

– Почему? Мы всех друзей при встрече называем так.

– Чувак – это кастрированный баран.

– Не знал, – удивлённо произнёс Миша.

– В девяностые годы хитрющие телевизионщики из породы чубайсиков и ельцинишек, ненавидящие русский народ, навязали это слово молодому поколению, – начал объяснять Мише я. – И сейчас вся молодёжь при встрече говорит: «Привет, чувак», не понимая, что этим словом унижает и оскорбляет собеседника.

Назавтра мы с Мишей наметили целую программу путешествия по достопримечательностям, связанным с жизнью в Заводоуковке Юлии Друниной.

Впрочем, официальных памятных мест, посвящённых конкретно Ю.В. Друниной, в городе до сих пор не существует. В Заводоуковске нет ни её памятника, ни музея. Правда, есть уголок, посвящённый поэте, в местном краеведческом музее.

Нам фактически пришлось для себя открыть «Маршрут Юлии Друниной». Впрочем, на улице Полугорной, где она проживала в обычной сельской избе вместе с родителями, мы уже побывали накануне. Как и в торговом центре «Большой» и на пустыре возле памятника «Заводоуковскому труженику села», где в годы войны был размещён молокозавод, кассиром которого работала Друнина.

– Да вот же на этом пустыре, приведя его в порядок, можно установить памятник Юлии Друниной! – воскликнул тогда Миша.

– Нет, пожалуй, самое лучшее место – на аллее на улице Первомайской, – ответил я ему.

С утра мы с Мишей весело шагали по городку. Дойдя до перекрёстка улиц Береговая и Шоссейная, по переулку прошли за местный техникум и вскоре очутились на берегу реки Ук, которая текла здесь извилистой голубой лентой, шириной около 20-30 м, в глубоком логу. Не поленившись, мы спустились по очень крутому склону, не побоявшись сломать себе шею, и испили из ладошек водицу прямо из реки. Внук скривил губы:

– Какая гадость!

А мне испитая водица реки Ук показалась чудесной, прохладной и живительной. Для меня эта вода была святой! Ещё бы – река эта тесно связана с именем Юлии Друниной. Летом она здесь пару раз купалась (между прочим, тогда Ук был более полноводным и глубоким). Зимой вместе с 7-летней Таней и курсантами спецшколы ВВС каталась с крутой горы на досках, специально облитых водой. Летя кубарем в сугроб, она беззаботно и звонко смеялась. Словно она окуналась в детство, на минутку забыв о войне.

На противоположном берегу реки прямо в черте города на горе высился красивый сосновый бор. А на нашем берегу раскинулись огороды с посаженной картошкой и небольшой лужок с зелёной травкой, на котором удобно было посидеть, поразмышлять и помечтать.

Пройдя по берегу реки на запад, мы вышли на улицу Парковую, которая показалась мне очень оригинальной. Она представляет собою несколько переулочков, которые из центра веером расходятся в разные стороны. По словам старожил, Парковая очень напоминает облик этого города (тогда ещё посёлка) периода Великой Отечественной войны. Одноэтажные домики, тихие неасфальтированные улочки с пыльными тропинками, протоптанными между зелёными лужайками, разросшимися перед домами, земля усеяна сосновыми шишками. Сосны здесь всюду – высятся прямо в переулочках, во дворах, в огородах. Мне подсказали, что современная улица Полугорная, где жили Друнины, – уже не та; она асфальтирована, многие дома облицованы современными материалами, почти все сосны спилены. А вот именно улица Парковая, по мнению старожил, полностью передаёт облик улицы Полугорной периода 1941-1942 годов.

Через переулочки Парковой мы проходим в Центральный парк. Красоту его невозможно передать словами! На высокой пологой горе расположено сосновое царство. Вековые корабельные сосны, высотой до 40 м, верхушками упираются в яркое синее небо, по которому безмятежно плывут белые облака. Сосны настолько прямые и стройные, что кажется, будто какой-то неведомый нам волшебник прочертил их по линейке. В тени крон раскинулись зелёные лужайки. Сосновую рощу в разных направлениях пересекают удобные естественные дорожки, усыпанные шишками. Многие сотни птиц упражняются в бору в пении, радуя ваш слух. Где-то не унимается не желающий отдыхать дятел, стучит и стучит, порицая вас за безделье. А в парке около 20 аттракционов, настолько интересных и занимательных, что не только дети, но и взрослые увлечённо ездят, летят, прыгают, кувыркаются, смеются, веселятся, словом, радуются жизни. А под сосновым бором вас ждёт чудесное озерко с прозрачной голубоватой чистой водой и длинной деревянной набережной с мосточками, уютными беседками и скамеечками.

Центральный парк – не только райский сад для детей, это – настоящее царство любви! Десятки парочек гуляют по парку, вдыхая не только чудесный запах сосен, но и пьянящий запах настоящей, чистой, романтической любви.

По словам Татьяны, Юлия Друнина очень любила это место, посещая его не только во время работы на молокозаводе (последний находился вблизи парка, через дорогу от него), но и позднее, в 1942 году. Конечно, «Центрального парка» в сегодняшнем понимании, как официального места развлечений и отдыха, тогда здесь не существовало. Не было аттракционов, ухоженных дорожек, скамеек, набережной. Был просто красивейший

сосновый бор на пологой горе, радовали глаз озерко, обилие цветов летом, белочки, звонко пели птицы.

По воспоминаниям Татьяны, Друня любила бродить в одиночестве по этому сосновому бору. Именно здесь, после большого перерыва, связанного с первым боевым крещением и тяжёлым периодом переезда и смены места жительства, в голову ей стали приходить стихи. Грустной, печальной и задумчивой ходила она по парку, а вечерами дома вдруг что-то быстро записывала на листочках бумаги.

Ю.В. Друнина некоторые свои стихи датирует 1942-м годом. Следовательно, они написаны в Заводуковке. В них отражён первый фронтный опыт осени 1941 года и тяжёлые раздумья о войне, не дающие ей покоя уже в следующем, 1942-м, году.

*Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод,
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.*

*Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.*

И ещё:

*Качается рожь несжатая,
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.*

Оба стихотворения датированы 1942 годом.

От Центрального парка по улице Первомайской мы прошагали к железнодорожному вокзалу, перешли через уже хорошо знакомый нам виадук и отправились вдоль железной дороги на восток. Мы долго шагали по пыльной дороге мимо домов и домишек, Центра зимних видов спорта «Сосновый бор», каких-то гаражей и через полчаса ходьбы от виадука вышли к туберкулёзному санаторию, который был расположен ещё в одном сосновом бору, благополучно росшем прямо в черте города, на северо-востоке этого таёжного «Соснограда». Здесь в годы Великой Отечественной войны был размещён эвакогоспиталь №3519, в котором Ю.В. Друнина училась на медицинскую сестру и проходила сестринскую практику.

Миша ворчал, что мы забрели чересчур далеко, «к чёрту на кулички», а я отвечал:

– Юлия Владимировна ходила сюда ежедневно, да ещё после целого дня работы сначала на молокозаводе, а потом – на лесоповале. И не ныла.

Вот что пишет Ю.В. Друнина о периоде после первого неудачного хождения в Ялуторовский военкомат: «...Сдаваться не собиралась. Поступила на вечерние двухмесячные курсы медсестёр военного времени, организованные при эвакогоспитале. Конечно, одновременно и работала – тогда нельзя было иначе».

Определяясь на курсы медсестёр, Ю. Друнина руководствовалась не только фронтовой ностальгией и желанием попасть в действующую армию. Ведь можно было идти на курсы радистов, связистов, диверсантов. А она выбрала почему-то именно медицинскую специальность.

Значит – медицина, как профессия, притягивала её. Ю.В. Друниной хотелось стать именно медиком, спасать раненых от смерти, оказывать медицинскую помощь людям при повреждениях, ранениях и кровотечениях, лечить больных.

С медициной Юлия Друнина познакомилась ещё в Москве в 16-летнем возрасте, в июле 1941 года, когда по совету отца пошла работать санитаркой в глазной госпиталь, располагавшийся на улице Тверской. Ю.В. Друнина вспоминала:

«В палате с тяжелоранеными выбрала самого тяжёлого – жестоко обожжённого танкиста с повязкой на глазах.

Танкист отказывался от еды и от лечения.

Не сразу, конечно, но всё-таки мне удалось пробиться сквозь глухую стену предельного человеческого отчаяния. Как я была счастлива, когда мой подопечный проглотил первую ложечку супа! Есть он соглашался только из моих рук.

Вся палата следила за нами с величайшим сочувствием и добродушно надо мною подшучивала: “Невеста пришла, Вася!”

А Вася всерьёз принял эту шутку. Стал говорить о том, как покажет меня своим родителям. Я понимала, что подобная иллюзия помогает ему выкарабкаться.

Каково же было разочарование этого украинского хлопца, когда с его глаз сняли повязку (часть зрения удалось сохранить) и вместо “гарной дивчины” он увидел тощего нескладного заморыша!..

А я только и дожидалась выздоровления Васи (не могла ж я его бросить!), чтобы вступить в добровольную санитарную дружину при РОККе – районном Обществе Красного Креста. С завистью смотрела я в боевой кинохронике на юных дружинниц в комбинезонах, перевязывающих под огнём раненых».

В случае с тяжелораненым – танкистом Василием – мы видим высокие морально-нравственные качества Юлии Друниной: сострадание к тяжёлому больному, горячее дружеское участие, страстное желание помочь больному человеку выздороветь. Именно в таких людях и нуждается медицина.

Но работа медицинским работником низшей ступени – санитаркой – не может удовлетворить умную, талантливую девушку, хорошо окончившую престижную московскую школу.

Она жаждет профессионального роста и в августе становится сандружинницей, т.е. уже фактически может выполнять работу среднего медицинского персонала (медсестры) в военное время – осуществлять перевязки, остановку кровотечения, оказание первой медицинской (доврачебной) помощи. На занятиях в РОККе сандружинниц обучают десмургии – науке наложения повязок при ранениях. В Москве она начинает успешно

перевязывать раненых после авианалётов немцев на город. Юлия уже знает, как накладывать «шапочку Гиппократы» (специальную повязку при ранениях черепа), хотя у первого такого больного немного ступевалась от волнения.

По стечению обстоятельств в сентябре 1941 года попав сандружинницей в дивизию ополчения, она в боевой обстановке сумела квалифицированно перевязать несколько раненых. Практически в тот же день она оказывается в рядах регулярной Красной Армии и более месяца выполняет функции единственного медицинского работника в стрелковом батальоне («одна за весь санитарный взвод»). Друнина успешно перевязывает всех раненых в батальоне, останавливает кровотечения, выдаёт лекарства раненым и больным. Однако 11 октября, после выхода из окружения, заканчивается её деятельность как медицинского работника в рядах Красной Армии.

Можно заключить, что уже к моменту поступления на двухмесячные курсы медсестёр военного времени Ю.В. Друнина: теоретически знала десмургию и методы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи; в совершенстве умела перевязывать больных при самых различных ранениях (в голову, грудную клетку, туловище, конечности), останавливать кровотечения, оказывать экстренную доврачебную медицинскую помощь раненым и больным.

Поэтому опытные врачи-преподаватели курсов медицинских сестёр при эвакогоспитале имели дело уже с подготовленной сестрой милосердия, способной работать в боевой обстановке.

Но у 16-летней Ю.В. Друниной не было официального документа, подтверждающего, что она является медицинской сестрой. А, как говорится, «без бумажки ты – букашка!»

Для получения этой важной официальной «бумажки» и поступила Юлия на курсы медсестёр. Однако она занималась весьма прилежно и значительно пополнила свой багаж медицинских знаний.

Занятия проходили в вечернее время на базе ставшего хорошо известным в годы Великой Отечественной войны эвакогоспиталя №3519.

Этот большой госпиталь располагался в сосновом бору на северо-востоке от села Заводоуковки (ныне это – территория города, северо-восточная окраина его). В годы войны в госпитале были пролечены десятки тысяч раненых. Но не всех удалось спасти; умершие похоронены в могилах в «чёрном бору» – Старом кладбище Заводоуковска. На этом кладбище, расположенном в старой (западной) части города, около автовокзала, ныне установлен скорбный монумент – «Памятник воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпитале №3519».

Мы с Мишей, бодро шагающие пешком вдоль железной дороги – Транссибирской магистрали, наконец-то достигли территории и зданий бывшего эвакогоспиталя №3519, где ныне размещён известный в Тюменской области туберкулёзный санаторий. Это лечебное учреждение располагается в сосновом бору и занимает территорию около 700 м в длину и 500 м в ширину. Когда мы по пыльной дороге шли вдоль Транссиба, слева, у самого края соснового бора, показались старые ворота времён Великой Отечественной войны. У ворот стояла заколоченная будка, по своему внешнему виду явно военного времени, и, с другой стороны ворот, – старый одноэтажный деревянный дом (весьма похоже, что здесь в годы войны размещалось служебное подразделение госпиталя – санпропускник или приёмное отделение). Перед

домом установлена достаточно старая памятная стела, возвещающая, что здесь в годы Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь №3519 и что в нём было спасено большое число защитников Родины. Расстояние от ворот бывшего госпиталя до железнодорожного пути Транссиба составляет всего 60 м. Вероятно, раненых с фронта и из армейских госпиталей доставляли в этот тыловой госпиталь по железной дороге в санитарном поезде и из поезда прямо на носилках транспортировали в приёмное отделение госпиталя, где осуществлялись осмотр врачами и медицинская сортировка раненых по лечебным корпусам.

Здания бывшего госпиталя (и, соответственно, нынешнего туберкулёзного санатория) полностью расположены в густом сосновом бору. Сосны вековые, высотой до 35–40 м, боровые, с большим диаметром стволов и раскидистой кроной. Вначале, вдоль дороги, идущей наискось вглубь территории, в сосновых дебрях стоят на приличном расстоянии друг от друга три старинных, явно военного времени, деревянных одноэтажных больничных корпусов. Немного в стороне, наособицу, в лесу стоит более вместительный и внушительный деревянный корпус. Именно в этих корпусах эвакогоспиталя и размещались раненые воины. А, следовательно, в этих 4 корпусах происходило обучение на курсах медсестёр, в т.ч. здесь училась и проходила практику и сестра милосердия Юлия Друнина. Ещё дальше в сосновом бору стоят 2–3-этажные корпуса из белого силикатного кирпича, которые явно построены уже в послевоенное время. В них размещается ныне основная часть больных туберкулёзом, проходящих лечение в современном санатории.

С интересом обходим старые деревянные корпуса бывшего эвакогоспиталя. Нам подсказали, что в более вместительном корпусе располагалось наибольшее число больных, имелся рентгенкабинет и лабораторные службы. Но это здание частично перестроено. Три других корпуса значительно меньше по размерам и почти не изменились за восемь десятилетий после войны. Один из них недавно перенёс пожар и имеет обгорелые стены. Вокруг прямоугольных деревянных зданий стоят величавые сосны, со всех сторон окружающие корпуса. Эти вековые сосны явно «помнят» медицинскую сестру Юлию Друнину.

Как нам рассказали пожилые медицинские сотрудники санатория и, затем, сотрудники городского краеведческого музея, будущих сестёр милосердия на курсах вначале обучали теоретически: по книгам и таблицам, читая лекции и проводя практические семинарские занятия, которые проводились обычно в самом большом корпусе. Затем обучаемых распределяли по этим упомянутым 4 корпусам, и они проходили практику, т.е. на конкретных больных и раненых осуществляли различные медицинские процедуры: ставили подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции и «капельницы», под контролем доктора переливали кровь, накладывали гипсовые повязки и шины при травмах, ставили банки, промывали желудок. Основное внимание уделялось работе в перевязочной и операционной в качестве медицинской и операционной сестры, перевязкам, способам наложения повязок, остановке кровотечения путём наложения жгута и зажимов. Практика проводилась во всех 4 основных корпусах с переходом курсанток по графику из корпуса в корпус, ибо в каждом корпусе больные имели свой профиль: ранение в голову, грудную клетку, живот и конечности.

По окончании 2-месячной учёбы Юлии Владимировне Друниной было выдано *удостоверение*, что она прошла медицинское обучение и является медицинской сестрой военного времени, т.е. может занимать должности санинструктора батальона, медицинской и операционной сестры медсанбата и военного госпиталя.

Уже после окончания войны выяснился невероятный, сногшибательный факт: оказывается, проживая в Москве, Юля с детства боялась крови, не выносила вида её – сразу падала в обморок. Каким же мужеством обладала эта юная хрупкая девушка! Уже в сентябре 1941 года, попав на фронт, она усилием воли преодолела свою врождённую слабость, пересилила себя и заставила не бояться крови. Она смело перевязывала свежие кровоточащие раны, останавливала кровотечения у раненых. Во время прохождения практики в эвакогоспитале №3519 она вновь ощутила, что к ней вернулось это неприятное чувство боязни вида крови. И вновь усилием воли она переборолла этот страх, и на фронте ни разу даже не вспомнила об этом. Сохранила полное хладнокровие при виде самых страшных ран – развороченных животов, расколотых черепов.

Юля обладала высокими моральными качествами и всегда жалела больных и раненых. Одна из её заводуковских наставниц, фельдшер, ругала её за это, говорила, что так «чрезмерно» жалеть больных – «глупо и непрофессионально».

Перевязывать больных в эвакогоспитале надо было очень быстро, так как их было всегда много. Большинство перевязочных сестёр при этом, для экономии времени, быстро срывают присохшую к ране марлевую повязку, что очень болезненно. Юля же всегда тщательно отмачивала повязку 3%-ным раствором перекиси водорода, и только затем без боли снимала её.

Уже после войны Ю.В. Друнина так отразила в стихотворении «Бинты» свою яркую черту характера – милосердие:

*Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем – так учили нас.
Одним движеньем – только в этом жалость...
Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться – беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.*

*Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймёшь и ты...
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!*

Юлия училась очень прилежно. К своему фронтовому опыту практической медицинской работы она добавила многое: теоретически более глубоко и научно стала понимать особенности и признаки ранений головного мозга, сердца, лёгких, органов живота, конечностей; научилась лучше оказывать доврачебную медицинскую помощь, осуществлять перевязки и лечить раны.

Эти знания оченьгодились ей на фронте в 1943-1944 годах. Её отличные медицинские навыки и умения, высокий уровень мастерства при перевязках и оказании медицинской помощи раненым любой из вас, дорогие читатели, может сам оценить по её правдивым и честным воспоминаниям.

Её фронтовой начальник, командир санитарного взвода батальона Леонид Кривощёков после войны так вспоминал о Ю.В. Друниной (не зная, что она стала известной поэтессой): «У этой девушки было какое-то полное отсутствие чувства страха... Она переносила все тяготы фронтовой жизни и как будто не замечала их. Перевязывала окровавленных, искалеченных людей, видела трупы, мёрзла, голодала, но оставалась романтиком».

Прекрасная характеристика фронтовой сестры милосердия Юлии Друниной, получившей медицинское образование в стенах Заводоуковского госпиталя!

Мы с Мишей задумали совершить пешее путешествие из Заводоуковска в Ялуторовск. Так сказать, повторить тот путь Юлии Друниной по шпалам, который она несколько раз совершала в 1941-1942 годах.

– Ненормальные! – по-своему отреагировала Татьяна. – Ты Михал Иваныч – особенно дурак. Тебе ведь больше 60 годков.

Но мы стояли на своём, и в раннее утро солнечного погожего дня в конце июля 2023 года отправились в путь с улицы Полугорной Заводоуковска, где ранее жила Друнина, до Ялуторовского райвоенкомата. От железнодорожной станции «Заводоуковск» до железнодорожной станции «Ялуторовск» расстояние составляет ровно 25 км. Ю.В. Друнина пишет, что проходила «20 километров с небольшим», но, вероятно, она считала расстояние от западной окраины Заводоуковки до первых (восточных) домов Ялуторовска.

Накануне похода мы внимательно изучили топографические карты двух упомянутых городов и Ялуторовского района. От восточной окраины Ялуторовска до железнодорожного вокзала расстояние составляет 950 м, которое Ю. Друнина, очевидно, не учитывала как пройденный путь. Ведь в Ялуторовске в большинстве случаев она не доходила до железнодорожной станции, а с железнодорожного пути в начале «города декабристов» сворачивала на улицу Оболенского и переулочками выходила к дому №39 на улице Революции, где располагался райвоенкомат (это расстояние составляет 900 м). Она эти 900 м не учитывала, а в действительности-то она их проходила!

От дома №8 по улице Полугорной до западной окраины Заводоуковска расстояние по карте составляет целых 3300 м! И его Юлия Друнина не учитывала за пройденный путь, хотя в действительности преодолевала! Суммируем эти неучтенные ею 3,3 км пути по Заводоуковску и 0,9 км пути по Ялуторовску. Получается 4,2 неучтённых километров. Если вычесть их

из 25 км (расстояние между железнодорожными станциями двух городов), то выходит именно 20 км 800 м («20 км с небольшим» по Друниной). Но это – расстояние между окраинами двух городов, а пройденные пути по этим городам Юлия действительно не учла! Для справки укажу, что железнодорожный путь от Заводоуковска до Ялуторовска с 1941 по 2023 годы по километражу ничуть не изменился; конечно, шпалы и рельсы на отдельных участках заменялись, но рельсы проложены всё по тому же полотну, и поэтому длина маршрута за прошедшие десятилетия не могла измениться.

Итак, утром мы отправились в путь. От дома №8 по улице Полугорной переулочками быстро прошли к полотну железной дороги и бодро зашагали по шпалам. Если приноровиться, то по шпалам идти достаточно удобно. Шли мы по встречному пути, чтобы беспрестанно не оглядываться назад, проверяя, идёт ли сзади поезд. А встречные поезда не были нам помехой, мы приноровились отходить влево и, присев, чуток отдохнуть, пока мимо нас проносился состав. Через каждый час пути сидели десять минут, чтобы отдохнуть и попить воды. На половине пути приняли пищу, которую несли с собой.

Когда миновали окраину Заводоуковска, около половины всего пути до Ялуторовска по обеим сторонам железнодорожного полотна плотной стеной стояли боровые сосны – это была настоящая глухая тайга. Поразительно, но ни одной деревни не попалось по пути – один лишь сплошной лес. Далее пошли берёзовые рощицы, но, по сведениям старожилов, раньше здесь тоже были сосновые глухие леса, которые затем вырубил Заводоуковский леспромхоз. Район берёзовых лесочков и лугов составил примерно четверть пути. А последнюю четверть составила голая низменная равнина, продуваемая всеми ветрами насквозь, на которой были видны множественные озёрки и болотца. Далее шёл Тобол с железнодорожным мостом через него, а через 1200 м от моста начинались первые дома Ялуторовска.

Удивительно, но даже в наше время никто не желает селиться на этом участке вдоль железнодорожного пути от Заводоуковска до Ялуторовска. Здесь глухой лес, и ближе к Тоболу – малопродуктивные, заболоченные земли. На всём нашем пути не встретилось жилых селений! Ни одной деревни, даже ни одного жилого домика! Только на половине пути располагается железнодорожный разъезд «Кривоуковский», где стоят два служебных домика железнодорожников.

Тобол – своенравная река с быстрым течением, множеством глубоких ям и омутов, возле Ялуторовска ширина её составляет около 300 м. Преодолеть эту водную преграду не просто.

По пути, сначала весело летя, потом бодро топая, а затем всё более замедляя шаг, в конце пути устало ковыляя, у нас было достаточно времени на раздумья и обмена мнениями.

Первый вопрос, который мы обсудили: почему Юлия Друнина была вынуждена ходить в Ялуторовск пешком? Ответ был ясен. Во-первых, большинство поездов и эшелонов в небольшой Заводоуковке попросту не останавливались. Во-вторых, как пояснил нам сотрудник краеведческого музея Л.Н. Басов, время было военное, на железной дороге порядки были строгие. У Юлии были документы, что она является работницей леспромхоза. А на проезд на поезде или в эшелоне нужно было иметь специальные проездные документы, которые достать было невозможно. Поэтому в поезда и эшелоны её не пускали. Татьяна раскрыла нам и такую тайну. В леспромхозе

работа была трудная, начальство боялось, что его работники могут разбежаться, поэтому существовал устный приказ: проездные документы работникам леспромхоза не выдавать!

Второй вопрос: почему она выбрала путь именно по железной дороге? Ответ лежал на поверхности. Накануне похода мы отыскивали старые карты и обнаружили следующее. Железная дорога была прямой, как стрела, и самой короткой, подходя к центру города Ялуторовск. Автомобильная дорога (Сибирский тракт) от Заводоуковки уходила на юго-запад, шла не прямо, а виляла зигзагами, в середине XX века ещё не была асфальтированной. Сибирский тракт не проходил через сам Ялуторовск, а мимо южной окраины города около села Памятное шёл в сторону Тюмени. От Сибирского тракта до Ялуторовского райвоенкомата нужно было ещё шагнуть 4,7 км.

В воспоминаниях Ю.В. Друнина ни слова не пишется об опасности своих пеших переходов из Заводоуковки в Ялуторовск. И только повторяя, правда в летний солнечный день и налегке, этот её поход, я ужаснулся тем опасностям, которые подстерегали 16-летнюю городскую девушку-москвичку. Юля ходила в Ялуторовск 3 или 4 раза, преимущественно в зиму 1941-1942 годов. Одета она была зимой в сибирские пимы, телогрейку и поношенную шапку-ушанку. Но всё равно идти было очень холодно. Шла она всегда одна. Дорога была безлюдной, кругом простиралась тайга. В ту зиму дни были холодные, мороз достигал 20-40°. На пути не было жилых селений, кроме разъезда «Криволукский». Негде было обогреться. Она могла элементарно замёрзнуть в пути! Зимой на неё в тайге могла напасть стая голодных волков и загрызть, оставив отцу и матери только косточки. Могли убить бандиты, которых, как и волков, в войну в этих краях было много.

На последних километрах перед Тоболом всё окружающее железную дорогу голое низменное пространство насквозь продувается ветрами, в непогоду холодными, часто сильными, сбивающими с ног.

Тобол – коварная река, в которой Юля, переправляясь по брёвнам, а в летнее время – переплывая, легко могла утонуть.

Вот такие мысли обуревали меня в пути по шпалам от Заводоуковки до Ялуторовска.

И ещё я восторгался отменным физическим здоровьем и невероятной выносливостью 16-летней девушки. Отмахать в сибирских пимах почти 25 вёрст только в одну сторону, а затем, после посещения военкомата, сразу прошагать 25 вёрст обратно – это настоящий подвиг! Подвиг, совершённый несколько раз. Я, например, пройдя только эти первые неполные 25 км в одну сторону, был истощён невероятно. Правда, мне было уже за шестьдесят.

Надо отметить, что Ю.В. Друнина физически была способна к большим переходам. Напомню, что в сентябре-октябре 1941 года она с лёгкостью преодолела ночной пеший марш-бросок с дивизией ополчения, а затем вместе с бойцами стрелкового батальона, выходя из окружения, много дней подряд проделывала тяжёлые переходы в Можайских лесах. Таким образом, к пешим переходам по маршруту Заводоуковка-Ялуторовск физически она была уже вполне готова, вволю натренировавшись под огнём противника в лесах под Можайском.

Писатель Анатолий Мошковский, приятель поэтессы, отмечает хорошую физическую форму 40-45-летней Ю.В. Друниной. Он пишет: «Быть в форме её научила армия... В армии Друнина привыкла к длинным пешим

походам, и, отдыхая в Коктебеле, она несколько раз в сезон ходила в Старый Крым. Это больше 20 км, и дорога вела по долинам, горным тропам, крутым подъёмам и резким спускам. Часто Друнина усложняла маршрут, выбирая наиболее трудный и интересный».

...Высунув языки от усталости, мы подошли к мосту через Тобол. Почти в полутора километрах к западу, сияя куполами восстановленного Сретенского собора, раскинулся и манил к себе «город декабристов» Ялуторовск.

Но едва-едва мы вошли на территорию железнодорожного моста, как протяжно и оглушительно громко (нам казалось – на весь Тобол и весь Ялуторовск!) заголосила, завопила, заныла сирена. От неожиданности мы отпрянули и ретировались в сторону, покинув рельсы и железнодорожное полотно в зоне, непосредственно находящейся перед мостом. Я подумал: нас сейчас «привлекут», как диверсантов, пытающихся взорвать мост. Однако, повыв, сирена замолчала, а наручники на нас решили, видимо, пока не надевать.

Но ведь надо было как-то перебираться через Тобол, который в районе Ялуторовска имеет быстрое и сильное течение. Мне в 1980-х годах доводилось переплывать через эту коварную реку. Вообще, в предыдущие годы я часто переплывал озеро у Ялуторовска, восточнее элеватора, которое имеет в длину 500 м. Преодолевал эти полкилометра и у противоположного берега разворачивался, не вставая на ноги, и плыл в обратную сторону. Но это – в озере, где нет никакого течения. А как быть здесь? На берегу коварного Тобола, готового своим течением сбить человека с ног, я вновь оценил смелость и физическую силу хрупкой, худенькой московской красавицы.

На наше счастье, невдалеке от моста мы увидели рыбака в лодке. Он сжалился над нами и вскоре перевёз на другой берег. С боязливостью мы отошли на приличное расстояние от моста и снова поднялись на железнодорожное полотно. Пройдя по шпалам ещё 1200 м, свернули в первую встреченную городскую улицу Оболенского, прошли тихими улочками 4 квартала и вышли на улицу Революции (бывшую Сталина) прямо к старинному каменному зданию Ялуторовского районного военкомата.

Всё расстояние от дома №8 по улице Полугорной Заводоуковки до Ялуторовского райвоенкомата по электронным приборам учёта километража составило 24 911 м. Из них 4,2 км по городским кварталам Заводоуковки и Ялуторовска и 20,7 км между этими городами. Мы преодолели это расстояние в 24,9 км за 6 часов 11 минут и 36 секунд. Конечно, значительно медленнее, чем 16-летняя Юлия Друнина в 1941 году. Она, наверное, преодолевала этот путь в сибирских пимах (летом – в лёгких туфлях) за 3,5-4 часа. Но мне всё же было уже за 60 лет, да и в пути мы часто делали остановки.

В конце пути снова вспомнились стихи замечательной поэтессы, в которых она возвышенно говорит о своих героических переходах от Заводоуковки до Ялуторовска, совершаемых ради одной цели – во что бы то ни стало попасть на фронт, чтобы защищать Родину:

*Эвакуации тоскливый ад –
В Сибирь я вместо армии попала.
Ялуторовский райвоенкомат –
В тот городок я топала по шпалам.
Брела пешком из доброго села,*

*Что нас, детей и женщин, приютило.
Метель осатанелая мела,
И ветер хвастал ураганной силой.
Шла двадцать вёрст туда
И двадцать вёрст назад –
Ведь все составы пролетали мимо.
Брала я штурмом тот военкомат –
Пусть неумело, но неумолимо.
Я знала – буду на передовой,
Хоть мне твердили: «Подрасти сначала!»
И военком седою головой
Покачивал: «Как банный лист пристала!»*

Итак, мы оказались перед старинным зданием Ялуторовского районного военкомата, что расположено по адресу: улица Революции, дом 39. В годы Великой Отечественной войны, как и сейчас, военкомат располагался именно в этом каменном здании. С фасада оно не производит внушительного впечатления – одноэтажное, низенькое. Но изнутри здание кажется очень просторным и вместительным, занимая большую площадь.

Отдохнув и посидев в тенёчке у центрального городского фонтана, который в сотне метров от военкомата приветливо журчал и пускал в небо прохладные струи, решаемся наконец войти в «святая святых». Женщина – дежурная по военкомату – вежливо отвечает на приветствие и, узнав цель визита, ведёт нас по длинному коридору с множеством дверей в кабинеты и служебные помещения. В коридоре на самом видном месте висит стенд с фотографиями шести Героев Советского Союза и других знаменитых офицеров и солдат – участников Великой Отечественной войны, которые были призваны Ялуторовским районным военкоматом. Увы! Портрета Ю.В. Друниной на стенде мы не обнаружили.

– Вывесим! Обязательно вывесим! – бодро заверила нас дежурная сотрудница, и мы, конечно, до сих пор верим в это.

И вот мы с волнением и замиранием сердца входим в кабинет райвоенкома. Большой, просторный, тот самый (я перепроверил это), в котором несколько раз побывала Юлия Друнина в 1941–1942 годах, долго беседуя с седым военным комиссаром Ялуторовского района, умоляя его отправить её на фронт.

Ещё заранее в архивах я установил, что Ялуторовский районный военкомат с 1939 по 1943 годы возглавлял интендант 3 ранга М.Р. Исупов. Это был уважаемый и заслуженный человек, пользующийся авторитетом в городе и районе. Ведя поиск материалов о нём, я нашёл такую характеристику районного военного комиссара М.Р. Исупова: «Это человек, который со знанием дела и ответственно подходил к выполнению возложенных на него задач. Не считался со своим временем, жёстко следил за дисциплиной, но в нужный момент мог подставить своё плечо».

Характеристики в архивах были замечательные. Но мозг мой сверлила фраза, которую со злостью как-то обронила тётя Таня: «Перед начальством и партийным руководством Исупов был робок, как курица, всего боялся, но по военкомату ходил индюком, с подчинёнными был строг и наслаждался, когда кто-то просил его о каком-то снисхождении».

Именно с военкомом М.Р. Исуповым многократно беседовала Юлия Друнина, умоляя его отправить её на фронт. И всё же добилась своего к августу 1942 года.

В этом историческом кабинете, в котором многократно бывала знаменитая поэтесса Ю.В. Друнина, сейчас за столом начальника военкомата сидит нынешний Ялуторовский районный военком, капитан второго ранга Родион Викторович Хабаров. Он немногословен, по-военному строг и подтянут. За его широкой спиной висит бело-сине-красный Государственный флаг России. Р.В. Хабаров хорошо знает, что именно из этого военкомата была призвана на фронт знаменитая поэтесса Юлия Владимировна Друнина. Мы долго беседуем с военкомом. Выясняется, что документов призывника Ю.В. Друниной в военкомате нет – они все находятся в Центральном военном архиве в Москве. Как и документы других призывников – участников Великой Отечественной войны. Капитан второго ранга известил нас, что батальонный санинструктор, старшина медицинской службы Ю.В. Друнина награждена медалью «За отвагу» (23.01.1944 г.), орденом Красной Звезды (15.10.1944 г.), медалью «За победу над Германией» (1945) и орденом Отечественной войны I степени (1985).

Мы тепло прощаемся. Военком Р.В. Хабаров – очень занятой человек. Ведь сейчас идёт напряжённая работа по призыву в армию граждан, желающих по контракту участвовать в Специальной Военной Операции. Ещё раз окидываю взглядом кабинет военкома, связанный с жизнью замечательной российской поэтессы, делаю прощальное фото этого знаменательного исторического места.

Мы вышли из старинного каменного здания, порог которого обивала Юлия Друнина в сорок первом и сорок втором, упрашивая военкома М.Р. Исупова направить её на фронт. И в сердце моём звучали её стихи:

*Нет, это не заслуга, а удача –
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!*

*С восторгом нас, девчонок, не встречали:
Нас гнал домой охрипший военком.
Так было в сорок первом. А медали
И прочие регалии – потом...*

*Смотрю назад, в продыmlенные дали:
Нет, не заслугой в тот зловецкий год,
А высшей честью школьницы считали
Возможность умереть за свой народ.*

Мы ещё стояли у высокого крылечка военкомата, обсуждая разговор с военным комиссаром и то, что он не прогнал нас в такую горячую для него пору набора контрактников на Специальную Военную Операцию (СВО), как к зданию подошла красивая молодая девушка и робко спросила у нас:

– Вы не знаете, на СВО женщин берут?

– А вы хотите служить, идти на войну, под огонь? – спросил с немалым удивлением я, зная молодых врачей-мужчин, которых пытались мобилизовать осенью 2022 года, но они притворялись больными, негодными к службе, а то и вовсе сбегали в Казахстан.

– Да, хочу служить! Мне страшно и больно смотреть на экране телевизора, как бомбят Донецк, убивают там детей. Я хирургическая медсестра.

Умею перевязывать, останавливать кровотечение. Если не возьмут по контракту, пойду добровольцем.

– Вы смелая. Уважаю! Идите прямо по коридору, направо будет дверь начальника военкомата. Он сейчас там, на месте.

Девушка впорхнула в здание военкомата. Юная, красивая, тонкая и гибкая.

– Сейчас она будет клянчить у Хабарова, чтобы её взяли на СВО, отправили в Донбасс, – улыбаясь, предположил внук. – Точно так же, как Юлия Владимировна упрасивала здесь же в сорок первом седого дядьку Исупова.

– Так это и славно, Миша! Не перевелись, значит, в России девушки, которые с оружием в руках готовы защищать нашу Родину!

...Здесь, в милом моему сердцу городке Ялуторовске, похоронены мои отец и мать, а ещё два брата. В этом «городке декабристов» проживают три мои сестры – Люба, Лена и Вера, с которыми мы в тот вечер встретились и тепло вспоминали и наших родителей, и годы светлой юности, и многих замечательных людей Ялуторовска.

Три сестры!словно героини одноимённой пьесы А.П. Чехова, они здесь живут, трудятся, веселятся, печалются и с надеждой смотрят в будущее. Со старшей сестрой Любой, живущей на два города, мы совсем недавно расстались в Подмосковье, а сейчас снова встретились уже в Сибири.

Говорили мы и о Юлии Друниной. Сёстры знают много её стихов.

Назавтра все вместе посетили памятные места в Ялуторовске, связанные со знаменитой поэтессой, которая нередко и в эвакуации, да и в послевоенные годы бывала в «городе декабристов». Среди памятных мест, помимо военкомата, – краеведческий музей, где висит её портрет в военной форме и экспонируется её книга стихов о войне, подаренная 31 июля 1971 года музею; Успенско-Никольская церковь, возле которой, бывая в городке в летнее время, любила отдыхать Юля, сидя на скамье в тенистом и уютном саду, возникшем на краю погоста; городская больница, где лечился в 1942 году её отец от инсульта, а заботливая дочь добросовестно ухаживала за ним. По словам старожилов, Юля любила сидеть в берёзовой рожице, которая раньше росла на Привокзальной площади, и я хорошо помню этот милый берёзовый уголок городка. Сейчас на месте рожицы воздвигнут мемориал, посвящённый 9 декабристам, отбывавшим ссылку в Ялуторовске, в числе которых И.И. Пущин, М.И. Муравьёв-Апостол, И.Д. Якушкин.

В 1977 году после очередного посещения города Ю.В. Друнина пишет проникновенное стихотворение «Ялуторовск», включив его в поэму о декабристах «Дети двенадцатого года».

*И ничего не знала я тогда
О городишке этом неказистом.
Ялуторовск – таёжная звезда,
Опальная столица декабристов!..
Я видела один военкомат –
Свой «дот»,
Что взять упорным штурмом надо,
И не заметила фруктовый сад –
Весёлый сад с тайгой хмурой рядом.*

*Как так? Мороз в Ялуторовске крут,
И лето долго держится едва ли,
А всё-таки здесь яблони цветут –
Те яблони, что ссыльные сажали!..*

*Я снова здесь, пройдя сквозь строй годов,
И некуда от странной мысли деться:
Должно быть, в сердцевинах тех стволов
Стучат сердца, стучит России сердце.
Оно, конечно, билось и тогда
(Хотя его и слыхом не слыхала),
Когда мои пылали города,
А я считала валенками шпалы.
Кто вёл меня тогда в военкомат,
Чья пела кровь и чьи взывали гены?*

*...Прапрадеды в земле Сибири спят,
Пред ними преклоняю я колена.*

Провожая нас с Мишей в обратную дорогу в Заводоуковск, сёстры вместе с нами зашли в зал ожидания Ялуторовского железнодорожного вокзала. Последний тоже тесно связан с именем Ю.В. Друниной. И само здание вокзала, и его зал ожидания совершенно не изменились с 1941-1942 годов, когда Юлия Друнина не один раз сидела здесь после очередной неудачи в райвоенкомате, обогреваясь, отсыпаясь и накапливая силы для нового пешего перехода по шпалам до Заводоуковки.

– Вы счастливые! Не надо топтать по шпалам, как это делала Юлия Владимировна! – прощаясь, говорит нам сестра Лена, забыв, что мы с Мишей вчера добросовестно протоптали весь этот путь.

Счастливые ли мы? Если честно, пока ощущения полного счастья лично у меня нет... А вот Юлия Владимировна Друнина, я думаю, прожила невероятно трудную, невероятно тяжёлую, но счастливую жизнь.

Пригородный поезд Тюмень-Вагай домчал нас из Ялуторовска до Заводоуковска ровно за 20 минут.

Отец Юлии Друниной, Владимир Павлович, был командиром взвода и преподавателем истории в 1-й Московской спецшколе ВВС, эвакуированной в Заводоуковку. Мать, Матильда Борисовна, работала библиотекарем в этой же военной спецшколе.

Понятно, что Юлия была в курсе всех дел (кроме, естественно, секретных), творившихся в этом учреждении.

В 1941-1942 годах спецшкола ВВС занимала несколько зданий севернее железнодорожного вокзала, из которых два основных (двухэтажное кирпичное и одноэтажное деревянное) стояли на пересечении улицы Ермака и переулочка Ермака, т.е. вблизи современного виадука. Зимой курсанты жили в казармах, летом переезжали в лагеря, в солдатские палатки.

Дружелюбная Юля хорошо знала некоторых преподавателей «спецухи» – товарищей отца. Ими были преподаватель русского языка и литературы Архангельский, физик Степанов, учитель химии Ерыгин.

Курсанты были эвакуированы из Москвы в октябре 1941 года и в первую зиму носили армейские пилотки и ботинки. Так они всю суровую первую зиму и проходили в таком лёгком летнем обмундировании! Мёрзли ужасно. Пилотки расправляли, и края их натягивали на уши. Во вторую и последующие зимы их одели в будёновки с красной звездой. В 1941 году питание было однообразным, но более-менее сносным. Самой частой пищей была гусятина. Но затем питание стало очень плохим, а в один из месяцев давали только 300 г хлеба в сутки и «неограниченное количество горячей воды» (так указано в документе!).

Успевшая побывать на фронте Юлия чувствовала себя «взрослой», и её сверстники – «спецы» – казались ей «детьми». Это её признание, которое она сделала уже после войны.

Среди «спецов» у Юли, учитывая службу в спецшколе отца и матери, были хорошие знакомые, с которыми она дружески общалась. Одним из них был будущий лётчик и космонавт Володя Комаров, которому тогда было всего лишь 14 лет. У Володи в спецшколе было прозвище «Комарик» – производное от фамилии. «Вот в пилоточке с отогнутыми на покрасневшие уши краями бежит он по сибирскому морозцу и ничего ещё не знает о своей звёздной судьбе», – пишет Ю.В. Друнина в воспоминаниях. У Ю.В. Друниной есть замечательное стихотворение «Комарик», посвящённое курсанту – будущему космонавту В.М. Комарову. Между прочим, Владимир Комаров был принят в комсомол в Ялуторовском райкоме ВЛКСМ. В местном архиве я даже нашёл данные, что он получил комсомольский билет №18373991.

Жизнь и быт курсантов 1-й Московской спецшколы ВВС замечательно описаны бывшим «спецом» Л.М. Михайловым в книге воспоминаний «Жизнь не святых».

Особое внимание «спецов» привлекал расположенный в зоне Заводоуковской железнодорожной станции верстовой столб с табличкой, на которой было начертано «2037» – такое количество километров отделяло Заводоуковку от прифронтовой Москвы. Они, ребята, эвакуированные из Москвы, во-первых, в душе тосковали по столице. Во-вторых, цифра «2037» невольно ассоциировалась с расстоянием до желанного фронта, поскольку осенью 1941 года немцы были почти у самых ворот Москвы. Курсанты страстно желали попасть в действующую армию, они все буквально бредили фронтом. Эти же чувства (тоска по родному городу – Москве, просочившаяся в строчки стихов – «эвакуации тоскливый год», а также испытываемая «фронтная ностальгия») обуревали и Друню, которая вместе с мальчишками-«спецами» или чаще всего одна приходила к этому верстовому столбу, стояла у него и с тоскою и надеждой во взгляде смотрела на запад.

Сейчас этот железнодорожный верстовой столб стоит на том же месте, но на табличке начертаны другие цифры: «2235». Это связано с тем, что отсчёт и нумерация километража от Москвы по Транссибу в европейской части страны ныне идёт по несколько другому железнодорожному пути, который слегка длиннее. Как бы то ни было, этот верстовой столб имеет большое символическое значение – он тесно связан с жизнью в Заводоуковке Ю. Друниной. А земля вокруг него священна – ведь столько раз на ней стояла юная девушка, ставшая в будущем символом героической защитницы Родины!

В спецшколе имелся духовой оркестр, устраивались танцы, где курсанты, недавние москвичи, заводили знакомства с местными сибирскими

девушками. Бывала на этих танцах и Друня, которую многие «спецы» знали и называли именно так, уважая её за порядочность, скромность, дружелюбие и другие высокие человеческие качества. Некоторые курсанты были просто очарованы её красивыми голубовато-зеленоватыми глазами и светло-золотистыми волосами. Но Юлия, влюблённая в погибшего комбата Василя, считалась в Заводоуковке «недотрогой» и «чистой, порядочной девушкой». Поэтому даже безобидный поцелуй в щёчку для курсантов, ухаживающих за Юлей, был несбыточной мечтой, чем-то из области фантастики и романтических грёз.

Эти эпизоды из жизни Юлии Друниной в Заводоуковке отражает её послевоенное стихотворение «В эвакуации».

*Патефон сменяла на пимы –
Ноги в них болтаются как спички.
...Обжигает стужа той зимы,
Той – невыносимой для москвички.*

*Я бегу вприпрыжку через лес,
Я почти что счастлива сегодня:
Мальчик из спецшколы ВВС
Пригласил на вечер новогодний!*

*Навести бы надо марафет,
Только это труднонато ныне –
Никаких нарядов, ясно, нет,
Никакой косметики в помине.*

*Нету краски для бровей? Пустяк! –
Можно развести водою сажу.
Пудры нету? Обойдусь и так!
Порошком зубным свой нос намажу.*

*...Вот уже мелодии река
Повела, качнула, завертела.
Мальчугана в кителе рука
Мне легла на кофточку несмело.*

*Я кружусь, беспечна и светла,
Вальс уносит от войны куда-то.
Я молчу, что наконец пришла
Мне повестка из военкомата...*

Мальчик из спецшколы ВВС пригласил её в клуб на новогодний вечер. Днём Юлия работает на лесоповале и поэтому еле-еле успела на танцы. И вот она кружится в вальсе «беспечна и светла». Как будто она ещё не нюхала пороха, не была на фронте, как будто нет никакой войны. Но это – обман, видимость. Оба – и молодой парень-курсант и она – жаждут попасть на фронт. И Юлия, получившая повестку из военкомата, не хочет огорчать влюблённого в неё парня, который известием о её повестке будет обижен вдвойне: во-первых, тем, что он её навсегда потеряет, во-вторых, тем, что он, «недоросль» и «салага», останется здесь, в тылу, а она сможет громить врага на фронте.

Стихотворение это в целом автобиографично, хотя автор для драматизма намеренно сместила сроки получения повестки девушкой; сама Юлия Друнина добилась повестки не зимой, а только к концу лета 1942 года. Но это стихотворение верно отражает психологию, мысли и чувства героини и курсантов спецшколы ВВС, всех юношей и девушек героического военного поколения: они могут влюбляться, танцевать, но главное для парней и девчат сейчас – не личная жизнь, а горячее стремление защитить Родину.

Лично Юлии Друниной ни одного памятника в Заводоуковске пока не установлено. Однако наискось от железнодорожного вокзала, прямо напротив Заводоуковского краеведческого музея стоит памятник с романтическим названием: «Вальс уносит от войны куда-то». Скульптур Дмитрий Маколкин изваял молоденького курсанта, танцующего вальс с девушкой-красавицей. Скульптура названа по этой знаменитой строчке стихотворения поэтессы и подразумевает танец «спеца» из школы ВВС с Юлией Друниной. Правда, автор вместо сибирских пим, в которых танцевала Друня, всё-таки одел девушку в модные туфельки.

К лету 1942 года тяжело заболел отец.

Отец был для Юли – всё. Это был любимый папа, который в детстве её купал и нянчил, играл с нею в игрушки и прятки, это был старший товарищ, друг, наставник, учитель.

«Для меня отец был не только отцом – он выполнял и роль матери, – пишет Юлия Друнина в автобиографической повести «С тех вершин». – Перед сном я всегда повторяла: “Господи, сделай так, чтобы я умерла раньше, чем он”. Конечно, ни в какого господина я не верила, но потребность в такой молитве была вполне объяснимой – любовь к отцу всегда сосуществовала у меня с вечной за него тревогой».

Когда Юля родилась, Владимиру Павловичу Друнину было уже 45 лет. И уже к моменту рождения дочери у него «было слабое сердце» – при переживаниях возникали боли за грудиной, он «хвотался за сердце», бледнел. Современные медики сказали бы, что он страдал атеросклерозом коронарных сосудов с развитием ИБС – ишемической болезни сердца.

Однажды 10-летней Юле посчастливилось спасти отца от трагической гибели. Владимир Павлович подрабатывал в ЦАГИ и за отличную работу был награждён удивительным подарком – билетом на показательный полёт над Москвой в только что построенном супергигантском самолёте «Максим Горький» (АНТ-20).

«Узнав, что отец согласился лететь без меня, я была глубоко потрясена его „предательством”, – пишет Ю.В. Друнина. – Обида моя оказалась столь великой, отчаяние таким глубоким, что отец просто-напросто отдал кому-то свой билет».

Вечером 18 мая 1935 года из Тушино пришла страшная весть – «Максим Горький» разбился: в него врезался эскортирующий его самолёт. В катастрофе погибли 46 человек, из них 7 детей. Когда, будучи уже взрослой, Ю.В. Друнина приходила на Новодевичье кладбище, то обязательно посещала место захоронения погибших в этой ужасной катастрофе и всякий раз говорила: «Мой папа мог бы в тот день погибнуть и лежал бы сейчас здесь».

Ужасное известие о начале войны, эвакуация из любимой Москвы в Сибирь, тревожные вести с фронта о сдаче всё новых и новых городов, сообщения о гибели своих друзей и знакомых ухудшали здоровье Владимира Павловича, которому в 1942 году исполнилось уже 63 года. У него часто болело сердце, и однажды, весной 1942 года, случилось предынфарктное состояние. А, может быть, это и был инфаркт миокарда, ведь в Заводоуковке и в Ялуторовске в 1942 году электрокардиографию (основной метод распознавания инфаркта) ещё не делали (я это точно узнал по архивным данным). Атеросклероз у Владимира Павловича быстро прогрессировал, захватив кроме артерий сердца мозговые сосуды. Церебральный атеросклероз в июне 1942 года осложнился ишемическим инсультом с последующим левосторонним гемипарезом.

Когда у Владимира Павловича Друнина на фоне хронических болей в сердце, которые в один из дней усилились, вдруг случился инсульт с последующим левосторонним гемипарезом, с потерей движений и чувствительности в левой руке и одноимённой ноге, заводоуковские врачи сначала лечили его на дому, но вскоре он был госпитализирован в Ялуторовскую Центральную районную больницу (ЦРБ). Я хорошо знаю эту больницу в Ялуторовске, в т.ч. её старый корпус, ибо в послевоенные годы в ней работал мой родной дядя Валерий Павлович Климов, который в 1970-х годах стал заместителем главного врача и в 1977 году, когда я закончил Пермский медицинский институт, даже хлопотал, чтобы я работал врачом-хирургом в Ялуторовской ЦРБ. Но меня назначили на работу хирургом-урологом в одну из больниц Перми.

Юля часто навещала отца в Ялуторовской районной больнице. Сейчас ей не нужно было ходить в Ялуторовск пешком по шпалам – для проезда к тяжелобольному отцу ей выдавали официальные проездные документы. Нередко, особенно в первые тяжёлые дни, когда у Владимира Павловича не двигалась левая нога и он не мог ходить, дочь оставалась на ночь в палате, чтобы ухаживать за ним.

Вот как описывает этот период своей жизни Юлия Друнина: «Каждая тревожная сводка [с фронта], каждое сообщение о сданном городе больно отзывалось в слабом сердце отца. И случилось то, чего я всегда боялась, – сердечный приступ, потом парез, то есть частичный паралич. Лежал он жалкий, беспомощный, почти потерявший дар речи, не чувствуя, когда папироска, попадая в левую, парализованную часть рта, выпадала из омертвевших губ. А за ситцевой занавеской, отделяющей нас от хозяев, кричали, смеялись и плакали дети.

Отца отвезли в районную больницу в Ялуторовск. Навещая его там, я всякий раз навещалась в военкомат.

К счастью, вскоре отцу стало лучше, парез прошёл. Но болезнь как-то изменила его личность. Он стал менее эмоциональным, менее ранимым и относился гораздо спокойнее к моему стремлению на фронт».

Всякий раз, навещая в райцентре отца, ночью ухаживая за ним в больнице, днём настырная Юля отправлялась в Ялуторовский райвоенкомат, где яростно атаковала военкома М.Р. Исупова, уже не умоляя, а напористо требуя, чтобы он направил её на фронт. Годков-то ей прибавилось, 10 мая 1942 года исполнилось 17 лет, а поскольку она исхитрилась в справках прибавить себе год, то официально она имела уже требуемые для службы в Красной Армии 18 лет!

Юля к этому времени «раскусила» военкома Исупова: он боялся начальства и был излишне строг с подчинёнными. Внешне Юля выглядела очень скромной девушкой. Поэтому в глазах военкома иногда проскальзывал огонёк наслаждения, когда он видел, как унижается бывшая московская школьница, слёзно упрашивая отправки на фронт.

И в июле 1942 года Юля сменила тактику: разговаривала с военкомом жёстко, а пару раз заявила, что нажалуется областному военкому, что её несправедливо лишают законного права добровольного вступления в Красную Армию.

И вот долгожданная повестка получена! Случилось это 3 августа 1942 года.

Получение повестки совпало с полным восстановлением отца от гемипареза; сейчас он мог хорошо говорить, ходить, двигать не только правой рабочей рукой, но и левой. В этот день его выписали из больницы, и боевая Юля даже договорилась взять его с собой в воинский эшелон, чтобы он доехал с нею до Заводоуковки. Однако это село эшелон проскочил, не остановившись, и отец сошёл только на следующей остановке, в Вагае. Юля тепло, со слезами, простилась с ним. Как оказалось, уже навсегда.

Юлия Друнина призывалась в армию из Ялуторовского райвоенкомата. Чтобы вы, дорогие читатели, перенеслись в 1942 год, в атмосферу проводов на фронт, и ощутили всю гамму чувств, переполнявших души ялуторовчан, приведу воспоминания жительницы города, ветерана труда Анны Ильиной о том, как Ялуторовский военкомат отправлял жителей своего района на Великую Отечественную войну.

В назначенный военкоматом день собрались тысячи горожан. Маневровый паровозик, пуская клубы чёрного дыма, притащил по железнодорожной ветке состав из товарных вагонов – «теплушек». Началась посадка в вагоны мобилизованных военкоматом. После протяжного гудка машиниста, состав стал медленно трогаться. «Что тут было, словами передать невозможно, – вспоминала Анна Ильина. – Над пустырём стоял душераздирающий плач, рёв, стон. Матери, жёны, сёстры, братья, дети, знакомые и родственники отъезжающих, цепляясь за вагоны, бежали вдоль полотна. Некоторые после ухода поезда лежали на рельсах, плача навзрыд, – ведь проводили они на фронт самых родных, близких, любимых. На войну, многих, возможно, в последний путь... А духовой оркестр продолжал играть марш «Прощание славянки», тщетно пытаясь заглушить музыкальной тысячеголосый плач».

Эшелон шёл не на запад, а на восток. Пока это не волновало Друню. Она знала, что их, большую группу сибирских девушек и молодых женщин, должны были сначала обучить в военной школе и только затем распределить по воинским частям. Высадились в Хабаровске. И стали курсантами ШМАС – школы младших авиаспециалистов. Проучившись полтора месяца, Ю. Друнина по этой должности была обязана на военном аэродроме держать в боевой готовности самолётное вооружение – пушки, пулеметы, бомбы. И вот ШМАС позади. Теперь уже – фронт.

«И тут жизнь мне дала под дых так, что впервые я поверила – судьба... Мне вручили направление “для дальнейшего продолжения службы” в

штурмовой авиаполк, базирующийся не на западе, а на... Дальнем Востоке!» – вспоминала Ю.В. Друнина.

На Дальнем Востоке или, как его тогда официально именовали, ДВФ – Дальневосточном фронте, где Ю.В. Друнина начала служить в авиационном полку, атмосфера была предгрозовой. В ноябрьские дни 1942 года, когда на Волге шла великая битва, личному составу полка зачитали секретную разведсводку: как только падёт Сталинград, с востока ударят японцы. Вскоре объявили готовность номер один. Лётчики сидели в самолётах с прогретыми моторами, вокруг самолётов крутились «технари», в т.ч. ефрейтор Ю. Друнина, которая описала такое происшествие:

«Во время одной тревоги, когда я под плоскостью регулировала положение бомбы специальными винтами, ребята, поддерживавшие её сверху, уронили эту стокилограммовку. Хорошо, что она только чиркнула мне по лбу стабилизатором... Впоследствии я шутила, что это было первое моё боевое ранение, причём от прямого попадания бомбы. Но тогда было не до шуток. Кровь заливала глаза».

А вскоре навалилась огромная, непоправимая беда. Умер отец. В конце 1942 года у него случился повторный инсульт, и врачи не смогли его спасти. Юля проплакала всю ночь.

«С письмом матери в руках пришла я к комиссару поделиться горем, – пишет она. – А комиссар сделал то, о чём я и мечтать не могла. Дал мне, “как отличному бойцу”, в связи со смертью отца на несколько дней отпуск домой, то есть в Заводоуковку.

Прощай, разъезд Дубининский, село Михайловка! Прощай, ДВФ!

Всё тяжёлое, связанное с тобой, смягчится, просеется сквозь сито памяти, и останется только восемь строк:

*Мне при слове “Восток” вспоминается снова
Ветер, голые сопки кругом.
Вспоминаю ребят из полка штурмового
И рокошущий аэродром.
Эти дни отгорели тревожной ракетой,
Но ничто не сотрёт их след –
Потому что в одно армейское лето
Вырастаешь на много лет».*

До Заводоуковки ефрейтор Друнина добралась без приключений. Документы проверяли очень часто. Но они были у неё в полном порядке.

Она уже окончательно и бесповоротно решила – во что бы то ни стало попасть на фронт, в действующую армию, под огнём врага сражаться, защищать Родину. Она мечтала быть медицинской сестрой, спасти жизни раненым бойцам. Прозябать в тыловой части на Дальнем Востоке ей было противно. Выйдя из поезда в Заводоуковке, она прежде всего сожгла мосты назад – порвала и выбросила свой железнодорожный билет на обратную дорогу.

«Не заходя домой, пошла на кладбище, в сосновый бор, который здесь называют “чёрным бором”. Он и действительно чёрный – траур вековой сосен, похоронный гул ветра в их высоких вершинах, – вспоминала Юлия. – Стояла над свежей могилой, вспоминала, думала.

Может быть, если бы я осталась с отцом, ничего бы и не случилось. Но поступить иначе я не могла...»

...Прошло восемь десятилетий с того «чёрного» дня. И сейчас мы с внуком Мишей, ровесником той Юлии Друниной, стоим перед могилой Владимира Павловича Друнина, прах которого покоится на Старом кладбище, в «чёрном бору» возле автовокзала. На этом кладбище уже нет новых захоронений, тела умерших в Заводоуковске уже давно хоронят на Новом кладбище, которое располагается в соседнем сосновом лесу, за полотном Транссиба. А здесь, на Старом кладбище, стоит пронзительная тишина. Только слышится иногда шум проносящихся в некотором отдалении поездов.

В моей памяти отчётливо слышится задушевный голос Юлии Друниной, которая читает своё стихотворение «Мой отец»:

*Нет, мой отец погиб не на войне –
Был слишком стар он, чтобы стать солдатом,
В эвакуации, в сибирской стороне,
Преподавал он физику ребятам.*

*В Сибири он легко переносил
Тяжёлый быт, недосытанье, голод.
Но было для него превыше сил
Смиряться с тем, что вновь мы сдали город.*

*За нитью – нить. К разрыву сердце шло.
(Теперь инфарктом называют это...)
В сибирское таёжное село
Вползло военное второе лето.*

*Старались сводки скрыть от старика,
Старались – только удавалось редко.
Информбюро тревожная строка
В больное сердце ударяла метко.*

*Он задыхался в дыме и огне,
Хоть жил в Сибири – в самом центре тыла...
Нет, мой отец погиб не на войне,
И всё-таки война его убила...*

*Ах, если бы он ведать мог тогда
В глухом селе, в час отступленья горький,
Что дочь в чужие будет города
Врывать на броне «тридцатьчетвёрки»!*

Красивый памятник над могилой отца установила в 1970-х годах сама Юлия Владимировна, которая часто бывала в те годы в Тюменской области на Днях советской литературы и на других литературных и общественных мероприятиях, выступала с творческими встречами перед тружениками области. И каждый раз заезжала в Заводоуковск на могилу отца, нередко бывала и в Ялуторовске.

Как-то раз Марк Соболев выступал перед нефтяниками Тюменского севера.

– А где Юлия Друнина? – спросили они. – Ведь мы ждали именно её, и она в списке делегации писателей значится.

– Она завернула в Заводоуковск на могилу отца, – пояснил Марк Соболев и начал было читать свои стихи.

Однако молодые нефтяники не стали слушать его вирши и потребовали, чтобы он читал стихи именно Ю.В. Друниной. К счастью, Соболев знал много стихотворений замечательной фронтовой поэтессы и сумел выкрутиться из непростой ситуации.

После трагической смерти поэтессы в 1991 году за могилой В.П. Друнина старательно ухаживала Александра Кузьмовна Брекоткина, хозяйка дома №8 по улице Полугорной, где квартировали Друнины и откуда Юлия ушла в 1942 году на фронт. Дважды посещала могилу деда и единственная дочь Ю.В. Друниной Елена Липатникова, зоотехник Московского ипподрома, которая сразу после первого посещения Заводоуковска в 2010 году написала проникновенное стихотворение «Баллада о моём дедке». До этого Елена Николаевна стихи совершенно не писала, но, возможно, яркая жизнь деда вдохновила её, и сказались гены родителей – поэтов Ю. Друниной и Н. Старшинова.

Из Заводоуковки ефрейтор Юлия Друнина сразу отправилась на запад, в сторону Москвы, чтобы попасть на фронт.

«Мой план был прост, – вспоминала Ю. Друнина. – Попроситься в первый же воинский эшелон, идущий на запад, сказав, что от своего эшелона я отстала и вот теперь догоняю его. У меня имелась красноармейская книжка, в которой был указан номер моей части, но, конечно же, не сказано, где она находится. И ещё благодарность от командования “за успехи в боевой и политической подготовке”. По-моему, ничто не должно было вызывать подозрений. Тем более что я ехала на запад, а не на восток...»

До Москвы я прекрасно доехала в теплушке с лошадьми – меня охотно приютили два пожилых дядьки-коновода. Не пришлось и показывать документы. Дядьки только ворчали, зачем это девок на фронт берут, неужто мужиков уже не осталось?»

В Главном управлении ВВС Юлию Друнину, просившуюся медицинской сестрой на фронт, оставили... писарем в самом управлении. Только через много недель ей удалось добиться направления в боевую часть, и с сентября 1943 года она начала служить батальонным санинструктором в 667-м стрелковом полку 218-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. «Два с лишним года понадобилось мне, чтоб вернуться в дорогую мою пехоту», – пишет Ю. Друнина. В любимой своей пехоте она снова стала сестрой милосердия. Бесстрашная и самоотверженная, она оказывала медицинскую помощь и перевязывала раны на переднем крае, спасая жизнь тысячам красноармейцев, вытаскивая их под вражеским огнём в безопасное место. В январе 1944 года за героизм она получает медаль «За отвагу».

В апреле 1944 года санинструктор Ю. Друнина получила тяжёлое осколочное ранение в шею, осколок застрял в 2 мм от левой сонной артерии. Наспех забинтовав шею, она с этим тяжёлым ранением ещё несколько часов продолжала оказывать медицинскую помощь раненым, пока не потеряла сознание.

*Тот осколок, ржавый и щербатый,
Мне прислала, как повестку, смерть...
Только б дотащили до санбата,
Не терять сознание, не сметь!*

*А с носилок свешивались косы –
Для чего их, дура, берегла!..
Вот багровый дождь ударил косо,
Подступила, затопила мгла.*

*Ничего. Мне только девятнадцать.
Я ещё не кончила войну.
Мне ещё к победе пробиваться
Сквозь снегов и марли белизну.*

Как пронзительны эти автобиографические стихи мужественной девушки в простой солдатской шинели!

После удаления осколка в госпитале и длительного долечивания осложнений ранения со стороны лёгких, Друнина была признана инвалидом и негодной к военной службе.

Это давало ей возможность не возвращаться на фронт, считаясь в обществе героем войны и всю жизнь получая всевозможные льготы как инвалид Великой Отечественной войны. Подавляющее большинство раненых, получив при комиссионном обследовании инвалидность, так и делали. Однако Юля была необыкновенным, особенным человеком! Путём упорнейших тренировок, физических и дыхательных упражнений она через месяц восстановила дыхательную способность лёгких, поправила здоровье, настояла на повторной медицинской комиссии, которая сняла с неё инвалидность (!) и признала годной к воинской службе. Ю.В. Друнина снова добивается направления на фронт. В звании старшины медицинской службы она служит батальонным санинструктором в 1038-м Отдельном самоходном артполку Прибалтийского фронта, участвует в боях в Псковской области и за Ригу. В октябре 1944 года за проявленный героизм получает орден Красной Звезды. В конце ноября 1944 года, оказывая помощь раненому, она получила тяжёлую контузию от разрыва вражеского снаряда и вскоре была признана полностью не годной к воинской службе, завершив свой боевой путь.

Опалённая войной юность Друниной!.. Она о ней никогда не жалела. Наоборот, всё ярче и ярче становились её стихи о войне, создаваемые фронтовые образы. Тема войны не даёт ей покоя:

*Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной...*

Мне очень нравятся стихи Ю.В. Друниной. Они глубоко правдивы, очень откровенны и смелы, они учат ценить и беречь дружбу.

С наибольшей полнотой, мне кажется, переданы суть и необыкновенная сложность благородной воинской службы фронтовой сестры милосердия, спасающей от смерти тысячи раненых бойцов, в двух стихотворениях Юлии Друниной.

Одно из них написано ею непосредственно на фронте, в 1944 году, и называется «Солдатские будни»:

*Только что пришла с передовой,
Мокрая, замёрзшая и злая,
А в землянке нету никого,
И дымится печка, затухая.*

*Так устала – руки не поднять,
Не до дров, – согреюсь под шинелью,
Прилегла, но слышу, что опять
По окопам нашим бьют шрапнелью.*

*Из землянки выбегаю в ночь,
А навстречу мне рванулось пламя.
Мне навстречу – те, кому помочь
Я должна спокойными руками.*

*И за то, что снова до утра
Смерть ползти со мною будет рядом,
Мимоходом: – Молодец, сестра! –
Крикнут мне товарищи в награду.*

*Да ещё сияющий комбат
Руки мне протянет после боя:
– Старшина, родная, как я рад,
Что опять осталась ты живою!*

Второе стихотворение написано уже после войны и вошло в цикл стихов поэтессы «Из фронтового дневника». Оно ярко рисует её боевые будни, полные риска, невероятной физической тяжести и героизма:

*Четверть роты уже скосило...
Распростёртая на снегу,
Плачет девочка от бессилья,
Задыхается: «Не могу!»*

*Тяжеленный попался малый,
Сил тащить его больше нет...
(Санитарочке той усталой
Восемнадцать сровнялось лет).*

*Отлежишься. Обдует ветром.
Станет легче дышать чуть-чуть.
Сантиметр за сантиметром
Ты продолжишь свой крестный путь.*

*Между жизнью и смертью грани –
До чего же хрупки они...
Так приди же, солдат, в сознание,
На сестрёнку хоть раз взгляни!*

*Если вас не найдут снаряды,
Не добьёт диверсанта нож,
Ты получишь, сестра, награду –
Человека опять спасешь.*

*Он вернётся из лазарета,
Снова ты обманула смерть,
И одно лишь сознание это
Всю-то жизнь тебя будет греть.*

В центре Привокзальной площади Заводоуковска оставлен островок из двух десятков величественных вековых сосен. Не поднялась рука у строителей города уничтожить такую красоту. На переднем краю этой сосновой мини-рощицы установлен сооружённый из гранита и мрамора мемориальный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне. В центре комплекса возвышается памятник заводоуковцам – Героям Советского Союза и участникам войны, а по краям от него расположены гранитные плиты с высеченными именами погибших в этой священной войне и барельефы четверых заводоуковцев – Героев Советского Союза.

В сотне метров от мемориального комплекса, на краю Привокзальной площади, расположено новое здание Заводоуковского краеведческого музея, перемещённого сюда из старенького ветхого корпуса, стоявшего на улице Сибирской. В музее нас встречает старший научный сотрудник Леонид Николаевич Басов. Этот уникальный человек знает всё о городе Заводоуковске, историю эвакуированных в город военных и промышленных предприятий и 1-й Московской спецшколы ВВС. Он знает очень многое о знаменитой поэтессе Юлии Друниной и о 10-месячной жизни её в городе.

С нескрываемым интересом мы с внуком, сопровождаемые Леонидом Николаевичем, осматриваем музей. Есть в нём фрагменты костей мамонта, красивые чучела медведя и других сибирских животных, прекрасные полотна известного художника Станислава Поповича, осмотренные нами ранее, несколько дней назад; экспонаты, связанные с историей эвакуированных в город ОКБ, авиационных и военных заводов.

Но сегодня нас заинтересовала исключительно Юлия Владимировна Друнина.

И Л.Н. Басов наконец приводит нас в главный зал музея, в котором развёрнута экспозиция, посвящённая знаменитой поэтессе. Представьте себе огромный стеклянный шкаф-витрину, где можно увидеть экспонаты, связанные с пребыванием Юлии Владимировны в городе. Выставлены увеличенные фотографии Юлии Друниной периода детства, юности и фронтовой службы, фотографии её родителей Владимира Павловича и Матильды Борисовны, дочери поэтессы Елены Липатниковой и многие другие ценные и уникальные фотографии, документы и вещи.

Моё внимание особенно привлекло личное платье Юлии Друниной, которое привезла из Москвы и подарила музею её дочь Елена Липатникова. Платье ситцевое, послевоенных лет, тёмно-синее, с простеньким рисунком. На самом видном месте расположен сборник стихов знаменитой поэтессы с её дарственной надписью и автографом.

Дочь Юлии и поэта Николая Старшинова, известный зоотехник Московского ипподрома, закончившая Московскую ветеринарную академию, Елена Николаевна Липатникова тесно сотрудничает с музеем. Она приезжала в Заводоуковск в 2010 и 2011 годах, подарила музею вещи и фотографии мамы, много нового и интересного рассказала о ней, участвовала в

работе краеведческой конференции «Наше наследие», которая ежегодно в октябре проходит в Заводоуковске.

Дочь Юлии Владимировны, как уже было отмечено, побывала у могилы своего деда, В.П. Друнина, в «чёрном бору», после чего написала своё первое в жизни стихотворение «Баллада о моём деду». Рукопись этого стихотворения можно увидеть в музее, как и коллективный сборник стихов, где оно впервые было опубликовано.

Мы тепло прощаемся с Леонидом Николаевичем, а затем, собрав свои вещи на квартире Татьяны, спешим к пригородному поезду. Несмотря на почтенный возраст, Татьяна вместе с нами пришла на вокзал и с доброй улыбкой провожает нас.

– Ты – вылитый Иван Игнатьич, – говорит она мне, считая это высшей похвалой, которую непросто заслужить.

На прощание мы обнимаемся и целуемся, а затем поднимаемся вместе с толпой нетерпеливых суетящихся пассажиров в «барыгу», которая плавно трогается с места.

Татьяна машет нам вслед, краем платочка утирая слёзы.

В эти несколько дней в жизнь одинокой старушки мы привнесли радость, подняли в её душе облако светлых и добрых воспоминаний о матери, моих родителях и о незабытой ею смелой, правдивой и честной московской девушке Юле.

Прощай, трудовой сибирский город Заводоуковск! Прощай, милый и славный Сосноград, приютивший в тяжкие и суровые годы жестокой войны московскую девочку Юлию Друнину!

Через 20 минут мы уже оказались в Ялуторовске. Вдоволь наговорившись со всеми тремя сёстрами, Любой, Леной и Верой, вечером, захватив свои вещи, от улицы Свердлова через улицу Новикова пешком шествуем на железнодорожный вокзал. Это совсем недалеко – 15 минут ходьбы. Маршрут нами выбран не случайно. Уже простившись с сёстрами, по пути мы хотим проститься и с Юлией Друниной.

Ноги сами выводят нас в сквер, носящий имя замечательной поэтессы. Я с юности хорошо знаю это место. Здесь, на задах улицы Новикова, раньше были самовольные огородики жителей, где они сажали картошку, и пустыри, заросшие крапивой. А в начале XXI века общественность «города декабристов» и глава Ялуторовска решили: здесь должен быть сквер! И это место трудом жителей городка, дружно выходявших на субботники, чудесно преобразилось. На пространстве, где были одни пустыри, где буйствовали сорняки и крапива, возник сквер Юлии Друниной: длинная километровая широкая асфальтированная дорожка, которую с обеих сторон окружают яблони и другие деревья, кусты вишни, газоны. Возле уютных скамеек глаз радуют клумбы с цветами. Красота!

А в центре этого дивного восхитительного сквера возвышается памятник Юлии Друниной, установленный 10 мая 2009 года, в день рождения поэтессы. По замыслу автора, известного сибирского скульптора В.Н. Шарпапова, это дань памяти всем медицинским сёстрам, прошедшим Великую Отечественную войну.

Мы с Мишей уже много раз бывали и в этом уютном сквере, и у этого памятника. Но сейчас хотим молча ещё раз поговорить по душам с поэтессой и фронтовичкой, проститься с нею перед дальней дорогой в Пермь.

Перед нами – изваянная в камне юная красивая добрая романтическая и светлая девушка с прекрасными волосами, раскинувшимися по шее и

плечам, в армейской гимнастёрке. Она широко раскрытыми глазами смотрит на запад, туда, где в грозные годы Великой Отечественной войны был фронт, куда она всем сердцем стремилась попасть из этих сибирских городков Заводоуковск и Ялуторовск, чтобы бесстрашно вытаскивать раненых из-под огня, перевязывать воинов и вырывать их из лап смерти.

В пронзительной тишине примолкшего вечернего Ялуторовска мне отчётливо слышится простой, лишённый всякого пафоса, негромкий, но задушевный голос Юлии Друниной, который я слышал на её творческой встрече в Перми в 1978 году.

*Когда проходят с песней батальоны,
Ревнивым взглядом провожаю строй –
И я шагала так во время оно
Военной медицинскою сестрой.*

*Эх, юность, юность! Сколько отмахала
Ты с санитарной сумкой на боку!..
Ей-богу, повидала я немало
Не на таком уж маленьком веку.*

*Но ничего прекрасней нет, поверьте
(А было всяко в жизни у меня!),
Чем защитить товарища от смерти
И вынести его из-под огня.*

Голос Друни становится всё громче и громче. Он, не умолкая, звучит в моём сердце, но мне кажется, что весь Ялуторовск в вечерней тишине слышит проникновенные слова бесстрашной фронтовички, бойца, не сложившего оружие в битве за правду и за Россию до своей героической смерти в 1991 году:

*О, Россия! С нелёгкой судьбою страна...
У меня ты, Россия, как сердце, одна.
Я и другу скажу, я скажу и врагу –
Без тебя, как без сердца, прожить не смогу...*

Низко в ноги поклонившись юной девушке-фронтовичке, патриоту России и замечательному Человеку, мы по аллее сквера Юлии Друниной тихо молча шагаем к вокзалу.

И Миша вдруг звонким, взволнованным голосом произносит:

– Я нашёл в Интернете: крымские астрономы, по фамилии Черных, открыли новую звезду и назвали её именем Юлии Друниной.

– Да, я слышал об этом.

И мы дружно, в едином порыве, устремляем свои взоры на чёрный бархат вечернего августовского неба, на котором ярко сияют звезды. Где-то среди них горит и мерцает звезда Юлии Друниной.

И я твёрдо знаю: для тех, кому дорога Отчизна, кто, не жалея себя и своей жизни, готов служить Родине, защищать её от врагов и, если потребуется, отдать за неё свою жизнь, – для таких людей на небосводе будет вечно гореть путеводная звезда Юлии Друниной.

*Москва-Заводоуковск-Ялуторовск-Пермь,
2023-2024*



ПОЭЗИЯ

Валерий БОКАРЁВ

Валерий Бокарёв (Бокарев Валерий Павлович) – член Московской городской организации Союза писателей России, поэт, лауреат конкурса имени Анны Ахматовой 2014 г.; победитель Международного конкурса «Национальная литературная премия Золотое перо Руси – 2021», автор семи сборников стихотворений и многочисленных публикаций стихов и прозы в газетах, журналах и ежегодных конкурсных альманахах и сборниках. Выпускник химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, учёный физико-химик, доктор технических наук, профессор кафедры микро- и нанoeлектроники МФТИ, ответственный секретарь научно-технического журнала «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника», автор более 200 научных статей и патентов на изобретение, двух учебных пособий и монографии. Живёт в Москве.



Из лета в осень

Я у моря синего,
Середина дня...
Белые от инея
Под Москвой поля!

Драгоценно хрупкие,
Чуть дыхнёшь – и нет.
Мне у моря сутками
Чудится их свет.

Когда стреноженные кони,
Чуть колокольчиком звеня,
Ночную тишь от дома гонят,
А звёзды яростно горят;

Когда из ночи ароматом
Лесных фиалок вдруг пахнёт,
А под окошком виновато
И как-то нежно конь всхрапнёт;

Тогда сильнее ощущаешь
Свою Россию и себя.
Тогда всю ночь не засыпаешь,
Мир принимаешь и мечтаешь,
Стихами память береда.

Под утро сон туманом белым
Вольётся в комнату несмело
И понесёт, и повлечёт...
И время медленней течёт.

Луговая герань,
Нежным цветом своим
Ты мне сердце не рань
И в поля не зови.

Ещё не день. Проснётся скоро зной
И зажужжит, отряхивая росы.
И бабочки подвижной пестротой
Заполнят освещённые откосы.

Ещё не день. Ещё тиха река.
Лишь тихий плеск и отражённый лес,
И отдалённый голос петуха,
И тишина бескрайняя окрест.

Но вот один, затем ещё, ещё...
И гомон птиц. И тихая заря
С полей тумана гонит молоко,
И свет, и звук рождая и даря.

Зелёный свет немного розовеет,
И в деревьях проснувшись, петухи
Зовут зарю... зовут зарю!
И всё вокруг алеет от той зари.

Два белых мотылька
Летают надо мной.
Два белых мотылька
Среди травы густой.

Я протяну ладонь,
Они кружат над ней.
Не разводи огонь,
Костёр водой залей!

Беспечен их полёт –
Журчащий звон и свет.
Внутри меня живёт
Их прежних жизней след.

Я знаю, почему
В полуденной жаре
У кладбища в бору
Они летят ко мне.

Меня сопровождают птицы,
Как будто становлюсь я свой.
А если ниже наклониться –
Шагает муравьиный строй.

Меня деревья окружают!
Вливаясь в запахи травы,
От тёплых ягодных лужаек
Не оторвать мне головы.

Дым зелёный – цветущие ели,
Золотая пурга за окном.
И опять комары надоели,
Своим писком заполнили дом.

Но уйдёт изумрудное лето
Золотыми стрижами с берёз.
На дороги летя пируэтом,
Унося мир мечтаний и грёз.

Закружит желтоглазая осень,
Обнимая леса и поля.
В жёлто-розовом зареве сосен
Будет тихо шептать: «Я твоя!»

Медовый запах крапивы
Вновь опьяняет воздух.
Красиво как! Как красиво!
Красиво как и как просто.
Трава узорами блещет,
Симметрии мир зелёный.
О эти простые вещи,
Как древни вы и как новы!

Была гроза. Ещё её сполохи
Не отсветили в памяти моей.
Ещё дождя целительные крохи
Не высохли, блистают и теперь.

Плыла гроза. Слепящей белизною
Искромсаны объятия небес,
Под дождевой подвижной пеленою
Почти исчез замешкавшийся лес.

Прорвало небо шорохом раската,
И лопались на лужах пузыри.
Ветрами уносимые караты,
Слоились брызги на речной зыби.

Самые светлые дни –
Небо всю ночь в закате.
Лесом с полей гоним,
Воздух меня подхватит.

Самые жаркие дни –
Марево над полями.
Лечь бы в траву в тени,
Глядя в лазурь над нами.

Самые длинные дни.
Жаль, не веками длятся.
Жаль. Улетят они,
Птицами растворятся.

Самые лучшие дни.
Ночь нас от глаз укроет.
Господи, благослови
Ту, что была со мною.

Небо крутится в воздухе сером.
Отлетают, осколками крошатся
Облака, пробел за пробелом,
Разлетаются, множатся.

Небо смотрит глазами лазури –
Приоткрое, мигнёт и закроет.
И дождём, разыгравшимся с дури,
Убегающий путник полнит.

Дождь признался траве в любви.
Та ответила – да.
Через небо, смотри, смотри! –
Переливами радуга!

Эта ночь, когда закат
Превращается в рассвет!
Нет, никто не виноват,
Что тебе покоя нет!

Надышусь до одури
Тишиной и листьями.
Звёзды руку подали
Землю тенью выстелив.

Над прудом берёза наклонилась,
Будто смотрит в водяную даль.
Медленно на землю опустилась
Сумерек раскидистая длань.

Я ходил по насыпной дороге,
По ночной, объятай сном Земле.
Без усилий поднимались ноги
И купались в травяной росе.

Ощущая воздух как впервые,
Им дышать я каждый день не прочь.
Звёзды мои, звёзды неземные,
Для кого вы светите всю ночь?

Пью Родины чистую воду,
Дышу ароматом лесов.
Лишь здесь ощущаю свободу,
Лишь здесь я без пут и оков.

И носится крупная птица,
Печально вопрос задаёт.
Ах, если бы снова родиться
И жить, как тот чибис живёт!

С зарёю у речки проснуться,
Умыться кристальной водой
И в синее небо взметнуться,
И видеть рассвета покой!

Я жму педали, и тучи пыли,
Не оседая, за мною плыли.
Мчусь через поле, колосья рая.
За жёлтым морем лесные грани.

Лесной дорогой врезаюсь в чащу.
Взгляни, потрогай, нет чувства слаще!
Лучи, блистая, дорогу делят.
Листва местами наводит тени.

Лесные дали, я к вам приехал!
Здесь скрип педалей взлетает эхом.
Здесь запах хвои струится с сосен.
Здесь чувство воли ветрами носит.

Цветок, привлёкший моё внимание
Зовётся просто – Иван-да-марья.
Его верхушки от неба синие,
А ниже, в центре – поля России.
В нём наша жизнь – с мечтами, с болью.
Недаром снизу покрыт он кровью.

Светает. Бело-жёлтый свет
Верхушки ёлок заливает.
Летает над землёй рассвет,
Проклюнувшись, не пропадает.

И заполняет тишину
Туманом спутанного леса
Река, впитавшая луну
И звёзд растаявших завесу.

Белый туман растворился в воде
Он превратился в росу на траве

Уйти в луга, где аромат цветов.
В ромашковое марево упасть.
И для любви тогда не надо слов,
Достаточно смотреть и целовать.

Твои глаза сияют для меня,
Твоя рука нежнее лепестков.
Мы будем долго, до заката дня,
Испытывать блаженство и восторг.

Смотреть наверх и слышать чудо-трель,
И ощущать порхание крыла.
И за такой один чудесный день
Любая жизнь становится мила.

Дождь пошёл, прохожих мочит.
Кто под зонтик, кто бежать.
Нас проблемой заморочит,
Что в дорогу надевать.

Ускоряя бег прохожих,
Гром принёс переполох.
Дождь свои дождевики множит,
Сыпет с неба, как горох.

Льёт и льёт, дорог не стало,
Лишь кругом бежит вода.
Даже тень домов пропала:
Из окошка не видна.

В колокольчиках синих откос,
Бьётся птица о купол небес
И волнует до радостных слёз
Разноцветьем и звуками лес.

Упаду на траву.
Будут птицы мне петь.
Я с травинкой во рту
Буду в небо глядеть.

Белый свет с темнотой перемешан.
Лес из тени вышел на привал.
Млечными полотнищами взвешен
Над землёй собравшийся туман.

Не колышется листок берёзы робкой,
Мокрая трава, как сон лежит.
Старую, забытой всеми тропкой
Может, зверь, а может, день бежит.

И заслышав шаг его крадучий,
Гомон птиц вдруг ясно слышен стал.
Вынырнув из предрассветной тучи,
Первый луч на дерево упал.

Осень

Время летит, нас всё дальше уносит.
Тихо иду от сосны до сосны.
В белом тумане купается Осень!
Златоголовая мамка Весны.

Листья сверкают игрой самоцветов,
Падают тихим червонным дождём.
Словно зовут отошедшее Лето,
Будто жалеют и помнят о нём.

Золотые косы заплетая
Ветра непослушного рукой,
Серые глаза приподнимая,
Вновь смеётся Осень надо мной.

С ней иду шуршащею аллеей,
Улыбаясь птицам по пути.
Я давно в её любовь не верю,
Потому-то так легко идти!

А она по-прежнему смеётся!
У неё так много женихов.
Осень никому не достаётся.
Осень не по правилам живёт!

Царство Божие, милая осень!
Сколько красок в притихшем саду!
Очень жаль, что их время уносит,
Оставляя лишь серость одну.

Так и в обществе – то же томленье
И предчувствие огненных грёз.
А потом – только ветер паденья
И немного искрящихся слёз.

Покрылась золотом осенняя земля.
Добавка света к ранней тьме и стуже.
И в луже отраженье фонаря.
Покрыта золотом уставшая земля.

Остатки листьев закрывают путь.
Я пробираюсь яркою тропой,
И клин гусей кричит мне – позабудь
Июльский день и ощущение зноя.

Как листья сбрасывает лес,
В бессильной ярости желтея.
И как вода летит с небес,
День ото дня всё холоднее.

И осень ностальгией в кровь
Войдёт желанною отравой.
И ходим, ходим вновь и вновь
По скошенным когда-то травам.

Золотой весны серебряную осень,
Под углом к деревьям фонари,
Если мы попросим, если мы попросим,
Повтори!

У ветвей верхушки иссушило время,
Лист последний дуба запрокинут ввысь.
Это только бремя, это только бремя!
Оборвись!

Облаков не стало, синева пропала.
 День короткий, чем-то наращу?
 Мне ужасно мало, мне ужасно мало,
 Не пущу!

Ощущая воду – ощущаю слёзы.
 Где ты, юных мыслей череда?
 Отшумели грозы, отшумели грозы,
 Лишь вода...

Суровеет небо, отчуждёньем дышит.
 Сердце затвердело, как гранит.
 Хоть бы Он услышал, если Он услышит,
 То простит.

Золотой весны серебряная осень!
 Слово стало в горле, как костяк.
 Словно дождик косит, хуже пули косит –
 Мы в гостях!

Как тихо осень подошла,
 Меня накрыла листопадом.
 И вновь питается душа
 Его душистым, терпким ядом.

Опять летели журавли.
 На солнце, к югу уплывали.
 А как курлыкали они!
 Как будто нас с собою звали.

Нет, не маните, журавли,
 С собой в неведомые страны.
 Ведь не заменят мне они
 Осенние лесные храмы,

В которых я теряю вес
 И вижу – в зареве заката
 Сверкает драгоценный лес
 От изумрудов и от злата.

И это золото берёз,
 Возвышенное до предела,
 Осенний лес нам преподнёс,
 И с ветром к нам оно летело.

Серые кусты как будто сжались
 По краям зашедших в грязь дорог.
 Сыростью прозяблой отражались
 В диких лужах блики облаков.

С каждым днём с берёзы опадают
 Жёлтые листы календаря.
 Изморозь под утро, холодаёт.
 Затаились голые поля.

Задремало всё, осыпалось, уснуло.
 Как и встарь, как 1000 лет назад.
 Та же Русь – простая, без сумбура.
 Тот же лес и листьев маскарад.

Завершив свой последний обряд
 Огневными цветами парада,
 Снова листья с деревьев летят.
 Я прошу – задержитесь! Не надо!

Но спокоен их лёгкий полёт.
 Лишь в безмолвном кружении рощи
 Ароматом цветов вдруг пахнёт,
 Чтобы сделать прощание проще.

Скворцы улетают!
 Заполнили шумом перроны.
 А рядом шагают
 Неспешной походкой вороны.

Скворцы суетятся,
 Предчувствуя новые страны.
 А нашим воронам
 Отлёт этот кажется странным.

Вновь непогода, дождь идёт.
 Хандра воспрянет и войдёт.
 Я ощущаю в серость сдвиг,
 Но всё меняется за миг!

Багряный лист! Багряный лист
Над головой моей повис,
Как будто солнце на ветру,
И я в лучах его иду!

И вновь преобразился мир.
Природа снова мой кумир!

Голубоглазая мечта
Полузабытого поэта.
Октябрь, и ты опять точна –
В одеждах золотого цвета.

Что приготовишь в этот раз?
Ужели только непогоду?
Не верю! Ты ведь любишь нас,
Как любят Землю и природу.

Лес редет, к нам просится осень,
Золотым подкупая листом.
В тихом зареве царственных сосен
Проплывает река под мостом.

И уносятся яркие листья,
Журавлей провожая на Юг.
Будто шуба, огромная лисья,
Укрывает былинки от вьюг.

Лес редет, становится тише;
Слышен шорох и листьев полёт.
Листопадом заносятся крыши.
Это осень, как дождик, идёт.

Иду сквозь лес, гляжу на воздух синий.
Златой листвой ковёр лесной росист.
Сопровождением рисунка дымных линий
Всё падает, летит осенний лист.

Когда я думаю о том, что всё минует,
Я вижу воздух, снизу золотой,
И в воздухе последний лист рисует
Армады туч, наполненных водой.

Узор простой, узор неприхотливый,
Но нам его не суждено понять.
И думаю, что всё же я счастливый,
Коль этот мир дано мне наблюдать.





Детская сюита

Эдуарду в детстве не нравилось его имя. В сибирском небольшом городе, куда отца направили главным инженером на завод, с таким именем, не редким даже, а единственным, он чувствовал себя инопланетянином. К тому же ещё как-то баба Валя, желая, видимо, приголубить, назвала его «Эдик-соседик», и это чуть не стало его кличкой! Да ещё Олежка в детском саду спросил, почему он – фашист. И Эдик попросил маму его переименовать. Мама объяснила, что погибший на войне дедушка был Эдуардом, в его честь и назвали. Тогда Эдик попросил звать его Димой. Тут как раз дали новую квартиру, они переехали, в школу он пришёл без клички «соседик», и все звали его Димой.

Чтобы мальчишки в новом дворе приняли в свою компанию, он стал с ними всё свободное время мяч гонять. Времени этого было немного. Потому что опять-таки в память о другом деде, который не погиб, а умер, и от него осталось пианино, Эдика-Диму записали в музыкальную школу. А он поставил условие, что будет заниматься музыкой, если ему не запретят заниматься спортом. Согласие сторон было достигнуто.

И когда прибывшие из Москвы в поисках юных дарований преподаватели пригласили его продолжать учёбу в Центральной музыкальной школе при Консерватории, он категорически отказался: как я могу уехать, если я – староста двора, отвечаю за хоккейную площадку и футбольное поле, к тому же – капитан дворовой команды, которая – чемпион среди дворовых команд области? Что, ребят брошу?

И опять-таки родители подключили память о предках: дедушка был бы счастлив, если бы... К тому же двор его отпустил – напутствовал. Тут уж мама постаралась. Ходила ребят уговаривала, что Дима наш двор прославит на весь Советский Союз.

Устроили проводы. Во дворе стоял стол, скамейки, где мужики «козла» забивали, и часто там



Екатерина Фёдоровна Глушик – родилась в Ижевске, окончила филологический факультет Удмуртского государственного университета, работала учителем русского языка и литературы в школах родного города и группы советских войск в Германии (ГСВГ). Автор 10 книг прозы и публицистики. Лауреат премии «Эврика» за книгу рассказов «Простые разговоры». Лауреат премии «Лучшая книга года» (2006) за книгу «Беседы о Сталине», дипломант премии им. А.Н. Толстого, победитель конкурса журналистских работ «Беларусь – Россия. Шаг в будущее».

Живёт в Москве.



собирались, отмечали что-то всем двором: вытаскивали из квартир столы, стулья, гармонь появлялась, гитара... Так и Диму-Эдика провожали: застолье, музыка. Есть фотография с тех проводов: они с ребятами стоят, положив руки друг другу на плечи, кто-то лежит на земле, подперев головы руками, сзади стоят взрослые. И Нинка в кадре. Эдик не видел, кто позади встал, а когда фото получил, и Нинка на нём – обрадовался. Первая любовь. Может, и она была влюблена? Он этим вопросом маялся. Да разве девчонки сибирские вид подадут, что страдают по тебе?

Мама с папой остались в городе. В Москве Эдика-Диму поместили в интернат при музыкальной школе, а навещать его, на родительские собрания ходить поручили маминной тётке, которая жила, кстати, недалеко от школы-интерната – в Газетном переулке. В Москве он обнаружил, что его имя не столь редкое, и для музыканта оно даже более подходящее, чем Дима. Тут он уже просто Эдом был.

В Москве в футбол играть не получалось. Уроки физкультуры – да и всё тут. К тому же щадящие: как бы руки себе музыканты не поломали. Разве это спорт? Первое время Эдик часто приезжал домой, где он Димой был. На все каникулы – обязательно к себе. И сразу толпа дворовых собиралась, он рассказывал, как учится, как на концерты ездят, на гастроли. Из одной поездки – в Германию – привёз всем жевательную резинку и переводные картинки – шикарные там были красотишки.

Но с каждым приездом домой всё хуже играл в футбол и хоккей. И расстраивался. Может, ему надо было футболистом стать?

А потом и родители перебрались в Подмоскovie – папу перевели по работе. Хорошо. Но в родной город – до конца жизни Эдик считал именно его своим – он уже не приезжал. В гости к нему, даже когда он стал почти известным, приезжали ребята – из класса, со двора. Он приглашал их на концерты, предоставлял свою огромную квартиру – проходной двор, как называла её помощница по хозяйству. Родители уже жили в Москве, отдельно. А он – один в хоромах, был даже репетиционный зал. До него тут тоже пианист жил и сделал хорошую звукоизоляцию, чтобы соседей не очень беспокоить гаммами.

Эд радовался, когда навещали ребята. Они до старости так и будут для него – ребята. Он для них – Димарь. Москвичи гостей не очень жалуют, оно и понятно: чужие люди в доме всё-таки хлопоты доставляют. А Эд любил навещавших его. Хлопот ему не доставляли. Если надо репетировать, он репетировал, не обращая внимания на гостей. Они сами хозяйничали. Но по квартире перемещались на цыпочках и громко не разговаривали.

Ему говорили, что это и есть богема – люди постоянно в доме, всё общее, броуновское движение. Но всё-таки это не богема.

У него появилось очень много знакомых – люди статусные, известные. Однако их он к себе не зазывал. Прийти на кофе, бокал вина выпить – это да. Но даже после концерта не вёл к себе. В лучшем случае, если силы были – шли в ресторан. А уж оставить ночевать их у себя – даже странно. И не только потому, что у них и свои жилища были в Москве, иностранные и иногородние коллеги могли позволить гостиницы снять. А потому что те были не свои. А ребята – свои. Он при них мог и в трусах по квартире ходить. И они при нём. Свои. Конечно, если с жёнами – то другое дело. А когда ребята – всё по-простому. В своём городе они не признавали ванную, ходили в баню городскую. Ванна – только ополоснуться. А мыться – это

баня. Сначала Эд ходил с папой, а потом – с мальчишками со двора. Городская баня – это покруче Лондонского клуба какого-нибудь. Завсегдатаи, разговоры, ритуалы в парилке: как поддать, какой пар нагнать...

Ребята были ему дороги. И они все очень достойно, просто вели себя, не зарывались. Панибратства не позволяли, на людях его даже по имени-отчеству – Эдуард Леонидович. Пару дней погостят – уедут. И он от их приездов много получал. Они привозили с собой его детство, юность, запахи и звуки двора – любимого места на земле. Странно: едва ли сейчас он смог бы там жить. Но любил только свой город и свой двор. Как родители – они самые близкие ему люди. И та земля – самая близкая. Но ездить туда не хотел.

*По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно
Я бы запретил,
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мутит.
А не то рвану по следу –
Кто меня вернёт? –
И на валенках уеду
В сорок пятый год.
В сорок пятом угадаю,
Там, где – боже мой! –
Будет мама молодая
И отец живой.*

Слава Богу, и мама, и папа живы, но Эдик очень понимал это стихотворение Шпаликова.

...Можно было попросить кого-то из друзей его встретить на машине в аэропорту. Можно было и местные власти подключить – такая знаменитость, почётный гражданин города приезжает. Но он прилетел в столицу области, сел на поезд и поехал к себе. Чтобы никто не знал. Даже родителям не сказал, что едет к себе.

С вокзала – это недалеко – пошёл домой. В свой двор. Ребята уже все переехали – кто куда. И хорошо. Он не хотел никого из них здесь встретить. В городе изменилось многое, но многое осталось таким, как было в годы его детства.

Не хотел возвращаться в прежние места.

Однако вот вернулся. Узнал про Нину – приехал. Сначала – в свой двор. К ней потом.

Во дворе тоже многое изменилось, хотя и сохранилось многое. Сам дом уцелел, стоит, родной. Футбольное поле уже застроено – торговый центр. Всё, как везде! А вот хоккейная площадка – тут, только огорожена ярким пластиком, а не деревянными щитами, как при нём было. Деревья – огромные.

На этом месте пустырь был, а жители на субботнике саженцы высаживали, которые привезли из заводского подшефного хозяйства, где отец и многие соседи со двора работали.

И столик стоит посреди двора, но уже тоже – пластиковый. У их подъезда сидит бабушка. Вот уж что не изменилось – бабушки на лавочке у подъезда. Эдик подошёл и узнал – тётя Шура! Мало изменилась за столько лет. Едва ли не в том же платочке сидит. Он подошёл, заволновался от радости: не видел тётю Шуру с того прощального вечера во дворе.

– Тётя Шура, здравствуйте.

Она приложила ладонь козырьком к глазам, хотя солнца не было.

– Здравствуй, милый. Ты кто? Не вижу.

– Дима из 16 квартиры, – как сказать-то про себя?

– Ой, Мадя! – она убрала руку от глаз, стала раскачиваться из стороны в сторону, приговаривая:

– Мадя, Мадёнушка, вымахал! Ты с Москвы? Сейчас в вашей квартире, в шестнадцатой-то, дед да бабка, как я вот, живут. Мадя, милый!

Как он не зарыдал, услышав это «Мадя»? Его Мадей звала только тётя Шура, маленькая внучка которой вместо «Дима» говорила «Мадя». Внучка потом научилась «Дима» говорить. А тётя Шура так Мадей и звала. На машине времени в детство прикатил

– С Москвы? Погостить или дело есть? Давно не был. Мы тебя любим. Ты ведь знаменитый. Футбол, говорят, бросил? И хорошо. Не разорваться ж тебе. Я класичку не люблю, не смотрю. А все тут тебя хвалят. Ируська-то уж троих мне родила. Но за Мурманск уехала, одна я живу. Старика схоронила. Барыней, одна на две комнаты. Вот тебе и Мадя!!! Я вишь, одна сижу, скучаю. Жду, кого в магазин послать. Ты не сбегашь, Мадя?

Эдик в детстве часто бегал соседкам в магазин, когда его просили. Да все ребята не отказывали в таких просьбах.

– Схожу, конечно, тётя Шур.

Она стала рыться в кармане, достала носовой платок. Развернула – там мелочь. Стала на ощупь отсчитывать. Точно – на машине времени он приехал во двор! Всё так же в платочке деньги держит тётя Шура.

– Молоко за 35 рублей. Дороже не бери – из одной бочки льют, а по-разному берут. Хлеб – серый, половинку.

Неужели здесь ещё пекут серый? Это был любимый Эдин хлеб, которого нигде больше не ел.

– И возьми помадку – пакетик в сто грамм.

– Не надо деньги, тётя Шур. У меня есть.

– Да и у меня есть. Что я, тебя объедать буду? Он приехал в гости, а я его объём? Я пенсию получаю, деньги у меня есть. Что надо – на то и есть. А на что денег нет, мне и не надо. Вот – 64 рубля. Под расчёт. Беги. Как хорошо, что приехал. То я думала, кого бы послать. Магазин-то знаешь, где?

– Вон торговый центр.

– Давно ты не был, да, сразу видать. Туда не ходи. Там серого-то нет. И за 35 рублей они будут тебе молоко продавать, как же! Ты вон сходи за аптекой-домом, помнишь аптеку-дом? Ну вот. Там в подвале ветеранский магазин. Всё и купишь. А не будут давать, что ты не ветеран, скажи, что для Никифоровны из семнадцатого дома.

Эдуард взял мелочь, положил в карман. Пошёл к двухэтажному дому, который после войны строили пленные немцы. Таких домов было несколько.

Спустился в подвал. Тут и раньше был магазин – овощной. Сейчас здесь всё продавали. Две бабушки пропустили его вперёд в очереди на кассу, приговаривая:

– Вам, молодой человек, наверное, к спеху, а нам не к спеху.

– Шестьдесят четыре рубля, – огласила счёт кассир-продавец. Ещё два рубля он заплатил за пакет-майку.

Поблагодарил, расплатился своими деньгами. Ему неудобно было вытаскивать мелочь бабы Шуры. Когда пришёл во двор, тётя Шура захлопотала, теребя в руках матерчатую авоську:

– Забыла тебе сумочку-то дать под продукты. Ополоумела, тебя увидела. Ну, потратился, на ещё тебе два рубля. Эти майки-то они по два продают.

Возражения она не приняла. И позвала:

– Айда ко мне. Пойдём, Мадянюшка. Мама-папа как? Лёня-то ещё работает?

Эдуард не сразу понял, что это она о его отце спрашивает.

– Работает.

– Молодец. Он без дела-то не сидел. Он же, смотришь – по заводу туда-сюда, сюда-туда. Всегда в хлопотах. А Люся?

– Мама не работает.

– Молодцы. Дайте матери отдохнуть. Вы её уж должны обеспечивать. Вот так надо – маму беречь. Ну, айда!

Эдуард пошёл за тётей Шурой. Она жила на первом этаже, и мальчишки бегали к ней домой пить воду, когда играли во дворе. У неё на кухне даже висела на шнурке над умывальником алюминиевая специальная кружка.

Дверь у тёти Шуры и на ночь тогда не запиралась.

На этот раз, когда они подошли к двери, тётя Шура сняла с шеи ключ, висевший на шнурке, открыла. Объяснила.

– Запираю. Мне не жалко – ходите, пейте, в туалет, бывает, приспичит. Брат у меня нечего. Раньше-то только свои ходили, а вон торговый на футболе поставили – шастают. Как-то прихожу – поперёк коридора лежит. Не выбрался обратно, бедный. Перевернула – как ино узнать? Петька с третьего вон подъезда. Он уж после вас, как вы уехали, поселился. Пьёт и пьёт парень, пьёт и пьёт. Ну я пошла, его «Люде на блюде» говорю: «Забирай. Мне через его скакать, что ли?» Она пришла, как хлопнет ему по спине. Он и очухался. Увела. Циркачи. Она его как-то со скандалом выгнала. Он и ушёл. Да где-то пристроился. Так она его оттуда со скандалом обратно пригнала. Концерты играют.

А то раз ночью ползу в туалет. Вот про что рассказываю. Из Москвы приехал не про туалет слушать, Мадя. Но дело такое, и ты туда похаживаешь. И вот – споткнулась. Орнула, да сама себя заткнула. Ночь, всех перебуду, людям на работу. Это мне – спи, да валящему – валяйся. А люди – работают. Я бы их перебудила, так им носом на работе клевать? Да ещё вон водитель на этаже. Засни он за рулём? Кому радость? А это ещё один шарамыга уж ночью пришёл. Я и не слыхала, сама и слепа, и глуха.

Это уж Василь Макарыч отдыхает, развалился. Пьянь тоже. Он у нас Василь Макарыч, горд, что как Шукшин. Пристроился. Ему и дома такая честь – на полу. Где лёг-упал, там и санаторий. Еле выпроводила. Орать не

будешь – люди не виноватые, что он – пьянь, а я дверь не запираю. Оба виноваты, а люди ни при чём. Так сейчас у меня на ключе дом.

Эдуард увидел всё ту же кружку на верёвке.

– Я, наверное, из этой же кружки у вас пил?

– Из этой. Чего ей сделается? Дом днём, если сама здесь, не запираю. Не жалко, пусть пьют. Ты садись. Открой помадку. Это я нам к чаю. Рассказывай.

– Что рассказывать?

– Что хочешь. Секреты не выведываю, а интересно мне всё. Маму-папу обскажи. Здоровье как? У Лёни рука, поди, к дождю ноет. На производстве руку как поломал, бедный! Столько на заводе комиссий было! Ещё бы – главного инженера покалечили. А производство-то закрытое. Тут до диверсий недалеко.

Надо же. Он живёт в Москве, родители давно в Москве, а тётя Шура, как дворовая берегиня, помнит их, их беды.

Тётя Шура поставила чайник на огонь, сняла с полки сахарницу. Он улыбнулся:

– У нас такая же была.

– Да такая же, потому что ваша. Как поехали на Москву мама-папа, то выставили вон на двор своё добро, что в Москву не повезли – берите. Я и взяла сахарницу – у меня сахар-то в банке майонезной был. А тут благо-родно обжился.

Она поставила на стол стакан, предложила:

– Молоко пей. Оно у нас настоящее. В Москве из порошка, говорят. А у нас – из хозяйства.

Эдуард вспомнил, как любил крошить серый хлеб в молоко – вкусно! Очень захотелось. Но делать так было неудобно, и он, как бы просто вспо-миная, об этом сказал.

Тётя Шура изумилась:

– Так чего не поесть? Вот хлеб, вот молоко – ешь, как хочешь. Дай-ка, ты же голодный, я тебе варёной картошки натолку – с маслом настоящим, солью. У-у-у-у, объедение.

Она достала из холодильника кастрюлю с картошкой, взяла из ящика стола толкушку.

Толкушка тоже была их! Эдуард на уроке труда выточил и выжег на ручке – «маме».

– И толкушка наша.

– И толкушка ваша. А вот, Мадя, пойдём-ка.

Она взяла его за руку, как маленького, повела, открыла дверь в комнату и широким жестом указала на диван – там лежало знакомое покрывало.

– Вот я взяла от Люсиных даров толкушку, сахарницу и покрывало. Всё – целёхонько, о Люсе – Лёне – память. Покрывало-то уж чинила не раз. Но сносу нет!

– А у меня ничего не осталось от старой квартиры. Память была бы.

Тётя Шура опять-таки за руку повела его на кухню, взяла сахарницу, высыпала сахар в тарелку, вымыла толкушку, завернула в полотенце – протянула Эдуарду:

– Бери!

Он пробовал возражать, мол, не за тем сказал. Но она решительно за-явила:

– Не дело, что памяти нет. Посмотришь на цветочек на сахарнице – и на душе лучше. А у меня память и без того о вас. Хорошие люди. Покрывало не отдам – в заплатах оно.

– Я вам взамен куплю.

– Не надо! Зачем? Лучше давай ешь.

Варёная картошка с подсолнечным маслом, хлебные крошки, вымоченные в молоке – вкусы детства. На его предложение купить что-то в подарок, тётя Шура, отнекиваясь, хвастала, как сама и выразилась:

– Всё у меня есть, Мадянюшка! Всё буквально. Мне много ли осталось? А даже пять жизней бы прожила – и на них мне бы моего добра хватило. Посуда есть, два зимних пальто, пять платков, валенки, боты, простыни, наволочки. Богатая невеста. Всё есть! Сам не видишь? Пройти по хоромам – не пройдёшь, всё добром забито, обе комнаты. А вот Люсе ты от меня возьми подарок. Я ей pošлю мелиссу, она чай любит такой. И то скажи, что это с болотин. Помнишь, заводские туда ездили на выходные? Там собирали. Помнишь? Как не помнить тебе, уж большой был. А сейчас там участки нарезали. И мне соседка дерёт и привозит. В чай добавляю. Вот тебе сейчас в пакетик. У меня пакетов-то много. Я же ничего не выбрасываю. Добра – полны углы.

Тётя Шура деловито пересыпала из стеклянной банки сушёную мелиссу в пакетик, пошла в комнату. Вернулась, неся в руках чёрные шерстяные носки.

– Это Лёне. Мне к празднику выдали как ветерану мужские! У них чулки закончились. Я отложила, думала, подарю кому. Вот и пригодились – Лёне увези. И Люсе, и Лёне гостинцы. Носки-то тоже наша фабрика мастачит. Всё с родных мест.

– Тётя Шура, тогда я вам тоже пришлю подарок.

– Мадя, не надо! Всё есть у меня! Говорю, на пять жизней. А вот что бы мне надо... – она как-то мечтательно засмузилась. – Я вот, когда были передачи по радио по заявкам радиослушателей, всё хотела, чтобы мне кто-то заказал «Не шей мне, матушка, красный сарафан», Знаешь песню?

– Знаю.

– Так я хотела бы, чтобы мне её. Ты на радио скажи кому-нибудь, чтобы Александре Никифоровне Кузнецовой по её желанию передаём... Если можно. А если знаешь, давай споём. Я петь люблю, а одной петь, как мужику одному пить. Нехорошо. Хоть и попеваю – пишу-дребежжу.

Они запели:

*Не шей ты мне, матушка,
Красный сарафан,
Не входи, родимая,
Попусту в изъян.*

*Рано мою косыньку
На две расплетать.
Прикажи мне русую
В ленту убирать!*

*Пускай непокрытая
Шёлковой фатой,
Очи молодецкие
Веселят собой!*

*То ли жите девичье,
Чтоб его менять,
Торопиться замужем
Охать да вздыхать!*

*Золотая волюшка
Мне милей всего!
Не хочу я с волюшкой
В свете ничего!*

*Дитя моё, дитяtko,
Дочка милая!
Головка победная,
Неразумная!*

*Не век тебе пташечкой
Звонко распевать,
Легкокрылой бабочкой
По цветам порхать.*

*Заблекнут на щёченьках
Маковы цветы,
Прискучат забавушки,
Стоскучешься ты!*

*А мы и при старости
Себя веселим,
Младость вспоминаючи,
На детей глядим!*

*И я молодешенька
Была такова,
И мне те же в девушках
Пелися слова.*

Последние куплеты уже она одна пела – Эдуард не знал всей песни.

– Давай мы и чаю с помадкой. После еды да песен чаю хорошо. Давай. И мелисса в чае. Барами пируем! наших жильцов мало осталось. Да никого, считай. Егорыч уж лежачий. Кто съехал, если живой, а кто уж туда, куда я скоро. Про ребят ты сам знаешь. Они же рассказывали, что ты в Москве привечаешь. А Нину помнишь верхнюю?

– Помню.

– Умерла! Да. Хорошая какая Нина! Одна коса чего стоит! Канат, а не коса. Так она её и носила, до конца. Вдруг! Она недалеко уехала – в соседний дом. Муж хороший, технолог на заводе, она тоже по-хорошему, на фабрике. Потом какой-то свой цех завела, шила. Очень хорошая. Тайну, наверное, расскажу. Давай уж сейчас расскажу, когда ещё приедешь.

А дело такое. Вот уехал ты, а Нина и заскучай! Я же на лавочке всё, когда после работы. Она идёт, спрошу, чего грустная, оценки плохие? Нет. Просит как-то, мол, спросите у Сазоновых про Диму. Как он.

Сама чего не спросишь? Я, мол, спрашивала, привет передавала, а тётя Люся смотрит плохо на меня, буркает – ладно. А вам скажет, как он.

Да как же мне про Мадю не сказать? Я и спрашивала Люсю про тебя. Она мне – я Нине. А когда ты стал выступать, она меня просила афишу твою: Люся всем показывала. Ну я и выпроси тоже. Люся мне дала. А я Нине. Как радовалась девочка! Я у её спрашиваю, так чего ты сама ему не напишешь? Стеснялась. Да и Люся сказала, что у Димы девочка в Москве.

Эдуард никогда не сердился на маму. А тут он просто оторопел. У него не было никакой девочки. И мама никогда не говорила, что Нина, соседка, о нём спрашивает. Когда он приезжал на каникулы, он Нину пару раз видел, но не решался подойти и поговорить. И она пробежала, буркнув «привет». Уже был возраст, когда начинали стесняться друг друга. Наверное, мама боялась, что в Диме что-то заиграет, он бросит школу в Москве. Смешно. Но радости у него в жизни было бы больше, если бы он всё это знал.

Он и приехал к Нине. На могилу.

О том, что она умерла, сказал Борька. Борька – почти брат. Ему Эдик жизнью обязан. Они как-то пошли на реку на коньках кататься, там снег ветром сдувало, не то что коробку хоккейную надо было чистить, можно было мчаться наперегонки, не как на городском катке: не успеешь разогнаться – уже бортик. И Эдик провалился под лёд! Он обогнал Борьку и – в полынью. Хорошо, что Борька отстал, а то бы оба утонули. За край ухватился, но его течением потянуло под лёд. И Борька сообразил сразу: упал на лёд, пополз, снял с себя пальто, кинул Эдику, тот ухватился, как за верёвку, и Борька его вытянул.

На берегу ещё остался Игорь, который был без коньков, а пошёл за компанию. Он отдал сухое пальто Эдику, сам остался в свитере. Они бежали к дому, и пришли как раз к Нине, у которой точно дома никого днём не было. Там сушились, чтобы родители не узнали и не наругали. И Нина тоже была держательницей тайны. Никогда ни Борька, ни Игорь об этом не напоминали Эдику.

Ещё Славик был закадычным. Как-то Дима во дворе, не на площадке, пинал мяч и высадил окно на втором этаже соседнего дома. Там очень склочная бабка жила. Она выскочила на балкон, а тут Славик стоит, и она на него с руганью набросилась. Он не отнекивался, мол, это не я, это Димка. И даже родителям Славки пришлось за окно заплатить, его наказали. Эдик тогда почему-то очень испугался, что если узнают, родители запретят заниматься футболом.

И вот, Борька, Борис Игнатьевич, солидный дядя, проездом в Москве, остановился у Димы. Говорит:

– Наша хранительница тайны умерла.

Они Нину между собой так называли. Какая-то скоротечная болезнь. Двое детей. Мужа её Эдуард знал. Парень из старших классов их школы (Нина была на год младше), но они не общались. Тот, кстати, тоже не раз останавливался в Москве у Эдика. Приехал с запиской от тёти Оли, Нининой мамы, что вот проездом муж Нины, можно ли остановиться? Эдуард у него не мог спросить, как и что с Ниной.

А тот ему и говорит, мол, у жены ваша афиша на стене висела, и она её как приданное из дома забрала. Муж это понял как то, что жена гордилась таким соседом.

Похоронили Нину рядом с их учителем физкультуры, кто тренировал и дворовую команду. На тех проводах Эдик был, знает, где могила.

Сам Борис сказал о Нине и дальше поехал – в командировку. А Эдуард, никому не говоря, в ближайшие свободные от репетиций дни взял билет и полетел, чтобы проститься с Ниной, хранительницей его трепетного, невысказанного, тайного.

...Начинаем сольный концерт заслуженного артиста Российской Федерации, лауреата международных премий Эдуарда Сазони, – объявила ведущая.

Так Эдик, часто гастролирующий за рубежом, заявлял свою фамилию Сазонов. Концерт записывался для центрального телевидения. Эдуард направился не к роялю, а к микрофону, объявил:

– Этот концерт я посвящаю Александре Никифоровне Кузнецовой. И хочу исполнить не заявленную в программе её любимую песню «Не шей мне, матушка, красный сарафан».





ПОЭЗИЯ

Евгений Александрович Карунин – родился в 1972 г. в Москве. Окончил филологический факультет МГОПУ имени М.А. Шолохова; кандидат педагогических наук, доцент. Член МГО Союза писателей России, автор поэтических сборников «Российские перезвоны» (1998) и «Царство вечных небес» (2004), а также историко-патриотических поэм «Сказание о Невской битве» (2008) и «Куликово поле» (2011). Поэма «Куликово поле» была отмечена дипломом «Лучшая книга 2008–2011».

Живёт в Москве.

Евгений КАРУНИН



Час молитв, раздумий, тишины...

О светлый мир детства,
Мир грёз и забав! –
Со сказкой соседство,
Дыра в сапогах...
Кораблик бумажный,
Плывущий в реке,
Солдатык отважный
С гранатой в руке.
Поход за грибами
В таинственный лес
И праздник с блинами,
Костёр до небес!
Просторный двор школы
И «пять» за урок,
Друзья по футболу
И звонкий свисток.
Над алгеброй муки –
Контрольная вновь!
И мамины руки,
Что дарят любовь...

Как интересно в июльском лесу!
Можно здесь встретить животных и птиц!
Можно увидеть енота, лису,
Поползния, сойку и дружных синиц.



Можно под ёлкой маслёнок найти,
А под берёзами – гриб-моховик,
И на мгновение застыть на пути,
Слушая иволги жалобный крик;
След кабана обнаружить в траве,
И у пруда погрузить среди осин.
Сколько же тайн – не вместить в голове –
Ты открываешь мне, лес-исполин!..
Как интересно в июльском лесу!
От комаров не найти лишь покой:
Чешется сильно волдырь на носу...
Мамочка, мама! А скоро домой?!

Продают на вокзалах цветы –
Гладиолусы, розы, пионы, –
Чтобы мы не теряли мечты,
Чтоб с улыбкой входили в вагоны;
Чтобы в хмурый, безрадостный час
Добротой согревали друг друга,
Чтоб, усталость прогнав, каждый раз
Торопились с надеждой к подругам,
Чтобы сказочный мир красоты
Неизменно, как в детстве, был с нами...
Продают на вокзале цветы,
Чтоб с букетом поехал я к маме.

Играли дети во дворе:
Стремился к небу жёлтый шарик,
И мячик прыгал по траве,
Визжал щенок по кличке Ярик.
Вдруг – взрыв и дым... И нет двора!
И нет детей, что там играли...
А за рекой кричат: «Ура!»
«Ура! Мы снова в цель попали!»
Что, торжествуете, скоты?!
Не миновать вам час расплаты!
Глас Божий слышен с высоты:
«Фашисты вы, а не солдаты!»
Могилы. Женщины в слезах.
Нет, не постичь их боль и горе!
А жёлтый шарик в небесах
Плывёт, как плот в безбрежном море...

Знай: у фашистов цель одна –
Убить свободу на планете!
И силы им даёт война,
В огне которой гибнут дети...

Час молитв, раздумий, тишины
Снова воцарился над землёю.
В зыбком свете странницы-луны
Только небо, небо предо мною...

О безбрежный, дивный океан!
Сколько тайн хранят твои глубины!
Словно светляки укрылись там, –
Это звёзды, звёзды-исполины...

Не постичь обманчивую даль,
Не измерить долгими веками –
Тайна мирозданья, как вуаль,
Будет вечно, вечно вместе с нами!

Так Господь давным-давно решил,
Чтобы человек с мечтой о рае
На земле творил, искал и жил,
Пред Вселенной голову склоняя.



А в ответ – тишина...

Алексей был младшим сыном в семье. Единственный мальчик появился у родителей поздно, после двух дочерей. И, казалось бы, они должны были любить сына до умопомрачения – наследник всё-таки! Однако семья его не принимала. Одному Богу известно, почему. Ему не перепали лакомые кусочки во время обеда, ему не только не давали карманных денег, но даже не сразу покупали обувь или одежду, когда старая изнашивалась.

Когда умерла бабушка, Алексея незамедлительно переселили в её маленькую квартирку в одном из самых непрестижных районов столицы. И не только переселили, но и лишили финансовой поддержки. Их аргументом было то, что мужчина с раннего возраста должен зарабатывать на жизнь самостоятельно. После десятого класса Алексей пошёл работать на завод и параллельно учился в вечерней общеобразовательной школе. Так, получив аттестат о среднем образовании, он смог поступить в техникум. Но работу не бросил – нужно было на что-то жить. И только встав на ноги, он задумался о создании семьи.

Варвара тоже после 9-го класса перешла в вечернюю школу. У неё тяжело болела мама, и приходилось зарабатывать деньги на лекарства и вообще на жизнь, ведь у мамы была крошечная пенсия по инвалидности, а отец давно их бросил. Работала она нянечкой в больнице – мыла полы. Иногда ей доверяли делать уколы пациентам: рука у неё была лёгкая. Пока мама болела, у девочки появилась цель – поступить в медучилище. Целых два года совмещала Варя работу с учёбой. Мама умерла незадолго до окончания ею школы. С аттестатом о среднем образовании и опытом работы в медицинском учреждении она легко поступила, но теперь работала с восьми вечера до восьми утра в травматологическом отделении. Больница была «скоромощная», поэтому основных пациентов



Юлия Геннадиевна Александрова – преподаватель английского языка, доцент Всероссийской Академии Внешней Торговли. Поэт, прозаик, член МГО СПР с 2009 г. Печатается в газете «Московский литератор», журналах «Великороссъ» и «Свет столицы», альманахах «Академия поэзии», «У Никитских ворот». Автор семи сборников лирических стихотворений и четырёх сборников городских рассказов. Награждена дипломами за верность служения отечественной литературе с вручением ордена «В.В. Маяковский» и медалей «М.Ю. Лермонтов» и «И.А. Бунин». Живёт в Москве.



привозили именно ночью. Приходилось возить эти тяжёлые каталки и перекладывать больных.

Спустя три года Варя стала дипломированной медсестрой и перешла из травматологии в хирургию. Больные её просто обожали и ждали её смен. А она их радовала, регулярно подменяя своих коллег. Семейные частенько отпрашивались из-за детей, а незамужние бегали на свидания. Варя легко делала самые «болючие» уколы, всегда помнила, в какой палате у неё больные лежат под капельницей, а кому нужно подготовиться к операции.

Алексей поступил к ним с перитонитом – еле спасли. И если после обычной аппендэктомии выписывают на шестой день, то он пролежал в больнице целых две недели, а перед выпиской попросил у Вари телефон. Уж очень ему приглянулась эта медсестра.

Влюблённые год встречались, потом поженились. Так как денег в молодой семье было немного, свадьбу играть не стали, чем сильно расстроили родственников Алексея, которые мечтали покушать салатиков. «Ну и жмоты же вы!» – услышали они в свой адрес.

Алексей перешёл жить к Варваре, а свою квартиру сдал. Варя была в положении, и им предстояли обычные траты: нужно было купить коляску, кроватку, ванночку, манеж, памперсы, пелёнки, распашонки, погремушки и прочие вещи, необходимые для младенца. Ждали девочку.

Вика родилась 21 марта. В день выписки Алексей заехал за своими девочками в роддом и привёз их домой. А вечером случилось неожиданное: к ним нагрянули родственники – родители Алексея и его старшие сёстры. Варя была растеряна – она в первый раз стала мамой и ещё ничего не умела. Поэтому ей было совсем не до чаепития. Когда они с мужем отправились купать свою новорождённую дочь, мать Алексея пафосно встала из-за стола и со словами: «Нам здесь не рады!» удалилась из квартиры, громко хлопнув дверью. Свита последовала за ней. Вика заплакала. Вслед за ней зарыдала Варвара.

Рыдать потом Варе приходилось часто. Алексея будто подменили. Из ласкового заботливого мужа и отца он превратился в животное. Временами пил, гулял, не приходил ночевать, хотя деньги в дом приносил, ведь Варя была в отпуске по уходу за ребёнком. Ещё немного выручала его квартира – жильцы платили исправно. Однако нервное состояние матери передавалось грудничку: Вика часто плакала, плохо кушала и мало спала.

Лет через пять отец закодировался, но это сильно повлияло на его характер. Он стал очень нервным, часто кричал на жену и дочь. Однажды, когда Вике исполнилось 11 лет, Алексей поднял руку на жену. Это стало последней каплей. Варвара подала на развод. Алексей развод не дал. Его родители не поддержали ни одну из сторон. Казалось, их вообще не интересовала семья сына.

Виктория тяжело переживала размолвку родителей. Ей было жаль и мать, и отца. Она думала, что, когда люди устают от отношений, им нужно просто пожить порознь, чтобы соскучиться. А её родители продолжали жить в одной квартире, как соседи. И старались друг друга чем-то уколоть. Алексей упрекал Варю в том, что она за столько лет так и не научилась готовить, а Варвара его за то, что он, будучи отличным специалистом в области информационных технологий, так и не научился зарабатывать деньги.

Варвара работала в больнице, и её ночные смены всю жизнь были нормой, а вот Лёша, как только они стали ссориться, стал якобы пропадать на

работе. Было понятно, что у него начались новые отношения. Год спустя супруги всё-таки разъехались. Вика с мамой остались в их родной квартире, а Алексей уехал к своей новой избраннице – молодой сотруднице их отдела. И если бы просто уехал. Он забрал с собой всю технику: комп, ноутбук, плеysterшн, даже умную колонку с Алисой. Вике, конечно, всего этого не хватало, но ещё больше ей не хватало Алексея. Она часто просила Господа о возвращении отца. Не молитвами, а так, своими словами, от души: «Господи, пусть уж лучше родители ругаются, но зато папа рядом!» – молила она.

И вот спустя год Алексей снова нарисовался у них на пороге. На Прощёное воскресенье. Просил прощения у Вари, у Вики. Признался, что совершил большую ошибку. Вике было плохо без отца, а Варе без мужа. «Бог простит, и я прощаю!» – сказали обе. В знак примирения Алексей предложил отметить дочкин день рождения в кафе, а на следующий день сходить на концерт. Билеты он уже купил.

Концерт должен был состояться в пятницу. Красиво одетые и в приподнятом настроении Алексей, Варвара и Виктория поехали на концерт своей любимой группы. Зал был почти полон. Они заняли свои места где-то на заднем ряду партера. Вика была в восторге. Вчера они вместе ходили в кафе и отметили её 13-тилетие, а сегодня сидят на лучшей площадке Европы в предвкушении столь любимых песен «Там, на самом краю земли» и «Королевство Кривых». Папа сжимает мамину руку в своей, и они оба улыбаются. «Вот оно, счастье! Спасибо Тебе, Господи!» – сказала про себя Вика и, словно в порыве запомнить этот момент, почему-то посмотрела на часы.

Часы показали 20.30. Вдруг в зал ворвались люди в камуфляже и начали стрелять. Зрители рванули к выходам. У Вики и её родителей места были посередине. Они, как и все остальные, вскочили, чтобы бежать. Папа попытался закрыть собой маму, но не успел. Вика увидела, как оба они рухнули обратно в кресла и неестественно скрючились там в окровавленной нарядной одежде. Острая боль пронзила и её. Девочка закричала. Рука повисла. Кто-то схватил её за здоровую руку и потащил к выходу.

На улице дежурили военные и врачи, из здания повалил дым, подъехали пожарные расчёты. Вика сидела в «скорой». Медсестра обрабатывала ей рану – пуля прошла по касательной. Глядя на небо, девочка молила Господа вернуть ей родителей. Но в ответ была тишина.





Беседы о неведомом

Беседа первая
О тщете логики в мире иллюзий
или жизнь после жизни

*О, людская бестолковость!
Смертный! Знай, что в жизни сей
Для тебя одна лишь новость:
Смерть – и тайный мир теней.*

А.Н. Майков

Константин Петрович Сопоткин стоял на самой вершине горба похожего на игрушку моста Хафпенни и, облокотившись о чугунный парапет, с пристальным отвлечением смотрел на вяло катившиеся под ним зелёные воды Лиффи. На лице маститого литератора застыла кислая и недовольная гримаса, даже стёкла очков поблёскивали слегка презрительно, так что со стороны казалось, будто он вот-вот плюнет вниз и ждёт лишь момента, когда из-под моста выплывет какой-нибудь прогулочный катер или, на худой конец, лодка с туристами. Было только около трёх пополудни, но вокруг, по случаю воскресенья, сновало уже множество народу: в основном, зеваки и приезжих, направляющихся с Лиффистрит в квартал Темпл-Бар – туристическую Мекку Дублина.

– Неужто всё так плохо? Решили свести счёты с жизнью? – послышался за спиной Сопоткина насмешливый голос. – Предупреждаю, этот ручей едва ли глубже и уж точно не чище Яузы. Так что вы рискуете самым жалким образом захлебнуться нечистотами.

Константин Петрович обернулся и увидел долговязую фигуру профессора Горислава Игоревича Костромирова. Увидев же, уверился, что не перевелись ещё на этом свете люди, способные выглядеть всегда одинаково свежими и бодрыми, несмотря на явное недосыпание и всяческие вредные излишества. На сей раз историк



Сергей Валентинович Юдин – 1965 г.р., москвич. Публиковался в журналах «Урал» (Екатеринбург), «Изящная словесность» (СПб), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Бельские просторы» (Уфа), «Северо-Муйские огни» (Северомуйск), «Менестрель» (Омск), «Искатель» (Москва), «Зеркало» (Тель-Авив), и др., а также в сборниках «Святочные рассказы, XXI век» (ИД «Русь-Олимп», 2010), «Тёмные» (АСТ, 2016). Автор романа «Золотой лингам» («Вече», 2012, в соавторстве с А. Юдиным).

Живёт в Москве.



облачился в некое подобие крылатки и разительно смахивал на карикатурное изображение Шерлока Холмса.

– И вам доброго дня... А где же клетчатое кепи, трость и знаменитая трубка?

– При чём тут трость и кепи? – искренне удивился Костромиров. – А трубку я на ходу не курю. То есть, стараюсь не курить. Говорят, это вредно для лёгких.

– Ладно, проехали... – устало махнул рукой Сопоткин. – Куда направимся? В Темпл-Бар?

– У вас нездоровый вид, – сказал Костромиров и протянул литератору небольшую серебряную флягу.

– Что это? – брызгливо поинтересовался Константин Петрович.

– Коньяк.

– Увольте, – Сопоткин отвёл руку историка. – Я более полувека живу на свете и ещё ни разу не похмелялся. Не имею такой привычки.

Горислав Игоревич молча пожал плечами и убрал флягу обратно в карман.

Так уж вышло, что оба наших героя – профессор и литератор – познакомились только накануне вечером и, к тому же, совершенно случайно. Как это произошло, и почему именно в Дублине, а равно о том, какие приключения выпали на их долю, мы рассказывать не станем. Зачем засорять память читателя ненужными деталями? Тем не менее, приятели загодя уговорились встретиться именно в означенное время, дабы совершить прогулку по городу и на свежую голову обсудить ночные события (забегая вперёд, заметим, что последнее им так и не удалось).

Погода и обстановка прогулке вполне благоприятствовали: не поосеннему яркое солнце на почти чистом небе с редкими кучевыми облаками окрашивало дома и всё вокруг в сочные цвета кларета; лёгкий тёплый бриз разносил по улицам манящие запахи устриц, пива и жареного картофеля, а вдалеке, на синем фоне чётко и жизнеутверждающе вырисовывалась длинная, гладкая гряда гор Уиклоу.

– А я ведь, Горислав Игоревич, успел-таки за это время порыться в Интернете и кое-что узнать о вашей – оказывается, весьма известной в научных, да и не только научных, кругах – персоне, – нарушил молчание Сопоткин.

– Лучше бы поспали, чем пустяками-то заниматься, – поморщился Горислав Игоревич.

– Ну-ну, не скромничайте, – вяло усмехнулся Сопоткин, тщетно стараясь преодолеть пульсирующую головную боль. – Профессор Института востоковедения, член-корреспондент Российской Академии наук, кавалер иностранных орденов... Кстати, почему только иностранных?

– Отечественных не заслужил, – коротко ответил Костромиров.

– Я уж молчу о ваших подвигах на ниве криминалистики... Между прочим, о нашумевшем деле пресловутого «Золотого Лингама» я и прежде был наслышан. Даже имел удовольствие лично знать главу Федеральной антисектантской службы Шигина Ивана Фёдоровича. Да, да! Впрочем, иначе как шапочным, наше знакомство не назовёшь... Кажется, покойник оказался довольно-таки одиозной личностью?

– Оставьте, Константин Петрович. Всё это слухи и досужие домыслы, не более. Ума не приложу, как они просачиваются во «всемирную паутину».

Прятели свернули с широкой набережной Веллингтона к Темпл-Бару, и тут дорогу им преградила торжественная процессия крестного хода. Вероятнее всего, многолюдное шествие двигалось от самого собора Крайсчёрч – Церкви Христовой.

Во всю длину улицы растянулась бесконечная вереница нарядно одетых дублинцев с разноцветными знамёнами, свечами и даже факелами. Чёрно-белые монахи с трудом несли тяжёлые розовые хоругви, обильно украшенные золотыми искусственными цветами. Целое полчище что-то гнусаво распеваящих монахов держало на плечах огромное карроччио с исполинской деревянной статуей святого Колумбы, раскрашенной во все цвета радуги, словно египетский фараон. За ними следовали толпы горожан, вооружённых распятиями, увитыми длинными белыми шёлковыми лентами; потом снова – монахи и монахини, священники в ризах, носилки с фарфоровыми, похожими на идолов мучениками и мученицами с неизменными букетами в руках, балдахины зелёного бархата, ковчегцы с мощами, вышитые золотом штандарты, – всё это колыхалось на ветру в блеске свечей, факелов и солнца, текло, подобно некой волшебной сверкающей реке под речитатив латинских песнопений и трезвон колоколов невидимых за домами церквей.

Но много достойнее удивления была не собственно процессия, а следовавшая за ней разношёрстная толпа в диковинных маскарадных костюмах: черти всех родов и обличий, ведьмы в остроконечных шляпах, вполне узнаваемые персонификации семи Смертных грехов и самая Смерть со здоровенной бутафорской косой – истошно вопили, свистели, гикали и то и дело затевали промеж собой потешные сражения, негодуя вероятно, что в нынешний Святой праздник и их понудили влачиться в церковном обозе и волей-неволей славить Господа и Всех Его Святых.

– Да-а, всё-таки, не сравнить с нашим крестным ходом, даже и где-нибудь в провинции, в глубинке, – заметил Сопоткин. – Как-то благолепнее, что ли, получают такие вот шествия у нас, православных... Нет, по крайней мере, этих размалёванных истуканов с кричащей новогоднелочной позолотой, всего этого дурачества, шутовства и беснующихся комедиантов... А тут не поймёшь, что перед тобой: церковный праздник или карнавал.

– А мне нравится, – возразил Костромиров. – Чем-то напоминает Сатурналии, а может – японское Мацури или религиозные церемонии у индусов. Не доводилось бывать в Ориссе? Очень похоже. Эдакая священная колесница Джаганнатхи, не хватает только бросающихся под её колеса испуганных аколитов.

– Скажите, Горислав Игоревич, – со слабой улыбкой поинтересовался Сопоткин, когда процессия наконец скрылась за поворотом, – вчерашние события не поколебали ваш скептицизм?

– Скептицизм? Что вы имеете в виду? – Костромиров чуть замедлил шаг, повернулся к собеседнику и удивлённо приподнял кустистые брови.

– Ну как же! Я разумею отрицание реальности призраков и вообще ваши взгляды на возможность... точнее, невозможность посмертного существования.

– Нет, не повлияли, – просто ответил Костромиров.

– Вот как? Отчего же? Разве вам не показались некоторые явления, которые нам вчера довелось наблюдать, довольно... довольно загадочными?

– Почему не показались? Показались. Но, знаете, я привык всему, любым событиям, даже и загадочным на первый взгляд, искать прежде всего наиболее простые, а значит – реалистичные, объяснения.

– Ну и как? Нашли?

– Пока нет.

– Вот видите! Вы просто не желаете признавать, что столкнулись на сей раз с феноменом, недоступным для понимания. Необъяснимым феноменом!

– Скорее, необъяснённым, – возразил Костромиров. – Пока не объяснённым. Вообще, замечали, когда те или иные наши ощущения не соответствуют установившимся понятиям, мы склонны тут же объявлять их «удивительным чудом». Но, дорогой Константин Петрович, согласитесь, нельзя же любые феномены, для которых нет ещё научного обоснования, считать заведомо чудесными. Кажется, ещё Эйнштейн говорил, что всё развитие нашего умственного мира представляет собой в известном смысле именно то самое преодоление чувства удивления – непрерывное бегство от «чуда».

– Чёрт возьми! Полагаю, явись вам самолично архангел Михаил с мечом огненным, вы и тогда стали бы доискиваться пресловутого «научного обоснования»!

– Вы совершенно правы, стал бы, – согласился Костромиров.

Беседа зашла в тупик, и некоторое время приятели шли молча, но уже через минуту Сопоткин возобновил разговор неожиданным вопросом:

– Вы читали что-нибудь Рэймонда Моуди? Ну, знаете, довольно известный американский врач-терапевт?

– Моуди? Постойте... Это не тот, который написал «Жизнь после смерти»?

– «Жизнь после жизни», – уточнил Константин Петрович. – Да, он самый.

– Стало быть, читал.

– А его книгу «Свет по ту сторону»?

– Нет, мне и первого опуса сего эскулапа хватило за глаза. Судя по названию, ничего принципиально нового во второй книге не содержится.

– Надо ли ваши слова понимать так, что вы ставите под сомнение добросовестность этого автора?

– Отнюдь. Думаю, он предельно добросовестен в своих исследованиях.

– Как же так? Исследования Моуди не оспариваете, а посмертное существование души отрицаете? Неувязочка, однако.

– Никакой неувязочки... А что это вас так вопрос посмертного существования беспокоит? Может, вы сами обладаете некоторым опытом по этой части? Побывали «по ту сторону»?

– Да, побывал, – сдержанно и с достоинством ответил Сопоткин.

– Ах, так... Ну что ж, в таком случае, прошу извинить за неуместный сарказм.

– Бросьте, пустяки. Однако мне действительно довелось однажды пережить коматозное состояние, клиническую смерть. Понятное дело, – раз уж мы с вами сейчас разговариваем – реанимация прошла успешно...

– Сожалею... Тьфу, дьявол! То есть поздравляю... или... Короче, всё хорошо, что хорошо кончается.

– Да уж. Так вот, как побывавший там, могу с полной ответственностью подтвердить аутентичность изысканий доктора Моуди. «Опусы» его (как вы изволили выразиться) вполне согласуются с тем, что и мне было явлено...

– Пойдите, угадаю, – перебил Костромиров литератора. – И так, перво-наперво, сознание ваше отделилось от физической оболочки – вы, вернее, ваш дух, со стороны наблюдали собственное бездыханное тело, над которым хлопочут врачи. Но духовная субстанция ваша отнюдь не задержалась около места кончины. Нет! Неведомая властная сила затянула её в некий тёмный проход или тоннель, в конце которого, натурально, виднелся свет... Наконец, вы оказались в каких-то садах, настоящих райских кущах, где испытали неведомые доселе умиротворение, радость и блаженство, умноженные неожиданной встречей с ранее умершими родственниками и друзьями. Ага. И тут некое безликое, но лучезарное создание объявило вам, то бишь вашей бестелесной психее, пренеприятное известие: дескать, рановато при-был, ступай-ка назад, в юдоль земную. Естественно, необходимость возвращения из эдакого благолепия, прямо-таки из земли обетованной, в брэнную оболочку ничего, кроме разочарования и горя, у вас не вызвала...

– Довольно! – не без раздражения остановил собеседника Константин Петрович. – Хватит. Да, признаю, вы достаточно точно описали переживания, испытанные мною во время пограничного состояния. И что?

– Ещё раз, простите. Я вовсе не хотел вас как-то обидеть.

– Речь не об этом. Я к тому, что угадывать вам ничего не пришлось, вы просто воспользовались тем, что практически все пережившие клиническую смерть, наблюдали одну и ту же картину, с незначительными вариациями. То есть те из нас, которые вообще что-нибудь видели... Вот и весь фокус. Только, что это, по-вашему, доказывает?

– А, по-вашему? – вопросом на вопрос ответил Костромиров.

– По-моему, всё очевидно: мы имеем дело, вне сомнения, с весьма широко распространённым феноменом. Известно ли вам, Горислав Игоревич, что СВС – «состояние временной смерти» – испытали, судя по опросам, проведённым ещё в восьмидесятых годах Институтом Гэллага, свыше девяти миллионов человек? И это только в Америке! На сегодняшний день счёт идёт уже на десятки миллионов. И все эти миллионы наших современников (включая и вашего покорного слугу) на собственном опыте убедились в достоверности данных, приводимых доктором Моуди. По подсчётам медиков, феномен СВС испытывают на себе тридцать пять – сорок процентов лиц, которые прошли через клиническую смерть, и число их неуклонно возрастает...

– Заметьте, чаще всего это женщины, – вставил Костромиров. – Как вы думаете, почему?

– Хотите сказать, что женщины более впечатлительны? Ну и что? Да, нередко они обладают более тонкой психикой, более деликатным и восприимчивым душевным складом... Дело не в этом.

– Так в чём же?

– А в том, что ежегодно десятки миллионов людей по всему миру вочию убеждаются в существовании потустороннего мира! И видения их буквально в деталях согласуются друг с другом. Что, опять-таки, лишь подтверждает их истинность. Подумайте, десятки миллионов! Разве это не впечатляет? Разве можно от этого так просто отмахнуться?

– Вы правы, – согласился Костромиров, – от подобных массовых феноменов нельзя отмахиваться. В них нужно вдуматься.

– Вот видите! – торжествующе воскликнул Константин Петрович. – А где же ваш хваленый скептицизм?

– Он никуда не делся. И я готов дать развёрнутый ответ на ваш вопрос. Но сначала давайте условимся о терминологии... Не находите, дорогой Константин Петрович, что само употреблённое вами понятие, вернее, сам термин, «состояние временной смерти» абсолютно некорректен?

– Это ещё почему?

– Так ведь пресловутая «клиническая смерть» тем и отличается от настоящей, что это вовсе даже не смерть в буквальном понимании сего слова. Мозг-то продолжает работать, наиболее фундаментальные процессы в нём всё ещё действуют. И, собственно, реанимация возможна лишь до того мгновения, покуда энтропия или стагнация мозговой деятельности не достигла некоего необратимого предела. Невозможно оживить по-настоящему мёртвого человека. То есть такого, у которого клиническая, «мнимая», смерть перешла в самую что ни на есть натуральную.

– Не берусь этого отрицать, – Константин Петрович нетерпеливо пожал плечами. – Я, знаете ли, не медик. Но, опять-таки, что, собственно, доказывает ваше уточнение? Не понимаю!.. Хорошо, давайте заменим мой термин. Не вижу никаких причин, отчего бы не именовать «состояние временной смерти» как-нибудь иначе. Например, «состояние, близкое к смерти», СБС. Так, кажется, и у самого Моуди. В чём тут отличие? Что меняется-то?

– Ага. Я понял. То есть для вас не имеет принципиального значения, когда именно «потустороннее» видение посетит того или иного человека. Я прав?

– Ну... почти. Впрочем, да, правы! Не станете же вы утверждать, будто кому-то на земле ведомо, когда именно душа должна отделиться от тела: в момент клинической или «настоящей» смерти?

– Разумеется, не стану, – заверил Костромиров. – Однако хотел бы подчеркнуть, что согласно вашей логики, «отделение души» – по крайней мере, временное – вполне возможно и во многих иных состояниях и ситуациях. К примеру, во сне, при потере сознания. Или в результате экстатического транса. Верно?

– Да. Полагаю, и такое отнюдь не исключено, – не стал спорить Константин Петрович.

– Замечательно! – Горислав Игоревич с явным удовлетворением потёр руки. – Отлично! Я просто хотел именно что условиться о терминологии. До того, как продолжить нашу с вами мистико-эмпирическую дискуссию... Но прежде, давайте-ка уйдём из Темпл-Бара – тут становится слишком людно, чересчур много туристов – и поищем какое-нибудь более уединенное место для разговора. Что скажете о «Парке Её Величества, именуемом Феникс»?

– О нет! Только не Феникс-парк! Излишне близко к Чейплизоду. Да и побывали мы уже там.

– Тогда, может, Сент-Стивенс-Грин? Он и недалеко, можно пешком дойти.

– Парк святого Стефана? Согласен. Чудесный уголок. Кроме того, там, кажется, есть старое Гугенотское кладбище, а я его ещё не успел посетить.

– Ах, да. Ваше эссе о некрополях... Отлично, идемте. Кстати, а на этом кладбище у вас часом нет знакомого сторожа?

– Нет. Говорю же, я там ещё не бывал.

– Это обнадеживает.

Константин Петрович улыбнулся, чувствуя, как слабеет головная боль. Перед встречей он проглотил целых три таблетки аспирина, теперь они наконец начали действовать.

Приятель свернул на запад, углубились в запутанный лабиринт маленьких, мощёных брусчаткой улочек, вышли на Фишамбл-стрит, миновали по какой-то замысловатой синусоиде Дублинский замок, Унитарную церковь, Королевский хирургический колледж и уже через полчаса стояли перед главным входом в городской парк святого Стефана – Воротами Стрелков.

– Вы не находите, что эти ворота разительно напоминают триумфальную арку Тита Флавия? – поинтересовался Костромиров у Сопоткина.

– Да, об этом написано в путеводителе, – не без ехидства ответил тот, проходя вслед за историком в парк.

– Никогда не читаю путеводители, – недовольно проворчал Костромиров. – И, вообще, если приглядеться, они больше смахивают на арку Константина.

Константин Петрович спросил у попавшегося им навстречу старика, вооружённого метлой, но одетого в странный, отделанный малиновыми галунами камзол, как им пройти к Гугенотскому кладбищу. Ливрейный дворник махнул рукой на север, и Сопоткин с Костромировым не спеша направились по выложенной розовым туфом дорожке в указанном направлении.

Дорожка живописно изгибалась вдоль берега не то обширного пруда, не то небольшого озера, с плавающими по его серебристой глади белоснежными лебедями, петляла между элегантных клумб, беседок и до сей поры зелёных, аккуратно подстриженных лужаек; всё вокруг – лужайки, газоны, изящные деревянные беседки – поражало девственной чистотой, да и весь парк выглядел свежим и ухоженным, будто голландская кухня. Казалось, даже падающая с деревьев листва растворяется в воздухе, не долетая до земли.

– Итак, – начал Костромиров тоном профессора, читающего первокурсникам вводную лекцию, – прежде, чем изложить своё мнение по затронутой вами проблеме, должен оговориться, что один из моих учителей, выдающийся медиовист профессор Гуревич, посвятил в своё время этому вопросу небольшое, но, по обыкновению, блестящее исследование. Так что, по сути, я буду лишь по мере сил интерпретировать и развивать высказанные им некогда мысли... Ага. Полагаю, вы не станете спорить, что до сих пор, на протяжении всей человеческой истории, утверждения о существовании Потустороннего Мира и возможности бытия человека после кончины опирались исключительно на религию. Так? То есть были связаны с комплексом представлений о бессмертной душе и – главное – системе наград и кар, которые она испытывает на том свете...

– С чего я должен спорить? – удивился Константин Петрович. – Это ведь вы, а не я, не верите ни во что, чего нельзя потрогать руками.

– Так вот, – продолжил Костромиров, – система кар и наград предполагает, соответственно, Высший Суд и Высшего Судью. Конечно, это убеждение иррационально, но по-своему и вполне логично...

– Вот опять! – всплеснув руками, сказал Константин Петрович. – Снова! Отчего же непременно «иррационально»?

– Объясню. Иррационально, поскольку, будучи неотъемлемой составной частью религиозного контекста, оно не требует доказательств, внешних по отношению к этому контексту. Логично же оттого, что в любой

монотеистической доктрине понятия Творца-Судии, души и её существования после того, как она покидает земную оболочку, неразрывно связаны между собой, являются центральными опорными понятиями и столпами теологии.

– Это я понимаю, – согласился Константин Петрович. – Не понимаю другого: к чему вы клоните?

– Сейчас узнаете, – успокоил его Костромиров. – Ага. В этом вопросе мы с вами сошлись. Очень хорошо. Теперь давайте посмотрим, что же предлагает ваш доктор Моуди... Так вот, доктор Моуди предлагает нам нечто абсолютно противоположное! Отнюдь не религиозный, но, по его убеждению, экспериментально доказанный Потусторонний Мир, в котором оказываются души или бестелесные субстанции после смерти, пускай и временной. Ведь он специально оговаривается, что аргументы его не имеют ничего общего с религией или умозрительно-философскими теориями... Дескать, только научные данные, собранные им и другими врачами...

– Ну и что? Пока не вижу тут никакого противоречия, – заметил Константин Петрович. – Каким образом научная доказанность нашего посмертного существования способна повредить вере? Не понимаю.

– Постараюсь объяснить... – ответил Костромиров. – Будучи историком, я не в состоянии квалифицированно обсуждать медицинский аспект проблемы. Но в видениях (в том числе, и тех, что пережили лично вы), как и вообще в иррациональном, есть своя логика. И эта логика едва ли может быть объяснена одними только врачами или психотерапевтами. И вот здесь историк культуры и ментальностей может высказать кое-какие соображения. Особенно если он исходит из предположения, что подобные данные надлежит изучать не как чисто «медицинские факты», но как *симптомы коллективной психологии*, диктуемой вполне определённой картиной мира.

– При чём здесь психология, да ещё и «коллективная»? – вновь не выдержал Константин Петрович.

– Спокойствие, только спокойствие! – ответил Костромиров. – Прежде всего, нужно подчеркнуть, что, согласно прежним представлениям... скажем, представлениям людей средневековья, между обоими мирами существовало довольно интенсивное общение. Например, покойники, не утратившие своей заинтересованности в земных делах, могли наносить визиты живым. Понятное дело, особенно часто они являлись друзьям или родственникам и просили хоть как-то облегчить их пребывание в этом самом Загробном Мире... Ну, там, молитвами, заупокойными мессами, постами, подношениями святым заступникам и прочими благими делами.

– Вы бы ещё с потопы начали, – проворчал Константин Петрович. – Я же, как вы, наверное, успели заметить, не полный профан в истории религии. По роду деятельности обязан кумекать малость.

– Вот и отлично. Тем легче вам будет меня понять. На чём я остановился?.. Ага, вспомнил. Так вот, в те времена случалось, конечно, что люди впадали в коматозное, близкое к смерти состояние. Правда, выбирались они из него гораздо реже, чем нынче, но, тем не менее, иногда выбирались. По сохранившимся свидетельствам, ожившие обыкновенно также рассказывали весьма схожие между собой истории. Благополучно перенеся клиническую смерть, человек сообщал, что в момент этой самой смерти, когда его душа покидала тело, она как бы со стороны наблюдала его распростёртым на смертном одре. Затем душа отлетала прочь...

– Ну вот! А я о чём? – воскликнул Константин Петрович. – Во все века люди видели одно и то же. Какие ещё надобны доказательства реальности загробной жизни?

– Ага. Но вот тут-то как раз и происходило нечто совершенно иное, нежели в видениях нынешних коматозников: в одних случаях бесы волокли душу временно умершего в преисподнюю, в других – ангел провожал её в загробные царства, где той предоставлялась назидательная возможность созерцать муки осуждённых грешников и блаженство божьих избранников. Места, которые посещали души временно преставившихся, это Чистилище или разные отсеки Ада. Что же касается Рая, то души, предназначенные к возвращению на землю, практически никогда не устаивались счастья войти в него, самое большее, находясь поблизости, всё же могли созерцать небесное сияние и внимать хорам ангельским. Обычно души странников, которые должны были возвратиться к жизни, не попадали и в самое пекло, лишь со стороны наблюдая адский колодезь, откуда вместе со снопами жгучего пламени и жалостными воплями вылетали души навечно осуждённых, с тем чтобы через короткое мгновение вновь в него низвергнуться... Как видите, средневековые люди тоже располагали доказательствами существования Потустороннего Мира, и тоже, на их взгляд, вполне достаточными и убедительными – прежде всего, свидетельскими показаниями, рассказами очевидцев. Путешествие героя на небо и под землю – вообще излюбленный мотив как латинской, так и византийской аретологии и агиографии. С той лишь небольшой разницей, что у восточных христиан нет Чистилища... Впрочем, если желаете убедиться в распространённости визионерских мотивов, достаточно взять, хотя бы, «Диалоги» папы Григория Великого, похожее сочинение Цезария Гейстербахского, компиляции Этьена де Бурбона, Умберта де Романа, Жака де Витри...

– Читал я некоторых из этих авторов, – проворчал Константин Петрович, – уж больно непривлекательный Рай у них выходит... Какая-то школа хорового пения, а не Рай...

– Ну, каков привиделся, такой и вышел... – развёл руками Костромиков. – Ага. Зато уж Ад чаще всего просто великолепен. Как говорится, мама не балуй! Откройте, к примеру, «Церковную историю англо-Беды Достопочтенного... К слову, у того же Беды имеется любопытное известие о предсмертном видении некоего Дриктельма, – не то бритта, не то англа, – жившего ещё на памяти рассказчика где-то в Камбрии, нынешнем Каннингеме, что в шотландском Эйршире. Весьма характерное известие.

– Характерное? То есть типичное? – спросил Константин Петрович.

– Именно типичное. Для своего времени. Однако не лишённое и оригинальности. Но главное – это осязаемый контраст с вашими воспоминаниями... Хотите, расскажу?

– Сделайте одолжение.

– Хорошо... Наверное, логичнее было бы остановиться на знаменитом «Видении Адамнана». Но пересказывать сей устрашающий образчик ирландской монашеской прозы – неблагоприятное занятие. Лучше сами прочтёте при случае. Если не читали. Так вот, о Дриктельме... Однако, что это я? Кажется, вы упоминали, что недолюбливаете латинян, предпочитаете им греков? Верно?

– Да не то чтобы предпочитаю... – замялся Сопоткин. – Я лишь сказал, что восточная ветвь христианства мне, по понятным причинам, ближе, нежели западная. Да и вам, думаю, тоже...

– Пожалуй, – согласился Костромиков. – Ну что ж, и византийские источники, как я уже говорил, в этом смысле сгодятся... Какой же порекомендовать?..

Горислав Игоревич замолчал, чтобы дать возможность Сопоткину уточнить дорогу к Гугенотскому кладбищу у ещё одного попавшегося им навстречу паркового служителя, – как две капли воды похожего на первого, но с галунами и позументом уже не малинового, а серебряного цвета, – после продолжил прежним размеренным лекторским тоном:

– Признаюсь, все эти жития, мученики, деяния и легенды довольно трафаретны, так что не мудрено запутаться, да и пересказывать скучно. Кроме того, по сравнению с западными версиями «путешествий на тот свет», мы, православные, по традиции, не слишком смаковали адские муки, Рай же у нас зачастую столь же блёклый, что и у католиков. Зато куда больше внимания уделяли антиэстетическим подробностям умерщвления плоти, которому столь охотно предавались всеразличные святые подвижники, пустынножители, страсотерпцы и прочие анахореты. Именно в предвкушении Царствия Небесного, ради пресловутой «Вечной Жизни!» Откройте творения Николая Мефонского, Иоанна Мосха, Феодора Продрома, Палладия или кого ещё: тут тебе, пожалуйста, и смрадные раны Симеона Столпника, и «честные черви», клубящиеся в гниющих от всеобщего стояния ногах святого Макария, и зверообразный облик Марка Афинского, до пят заросшего волосами, с телом, покрытом зловонными струпами, и ногтями длиной в локоть...

– Бога ради, не стоит об этом! – взмолился Сопоткин. – Скоро ужин, кусок в горло не полезет...

– Как скажете. Ага. И жанр такой вот литературы процветал на протяжении всего средневековья и даже надолго пережил его. Особенно в России. Поройтесь в следственных делах и протоколах Святейшего Правительствующего Синода первой половины XVIII века и убедитесь: они сплошь заполнены, так и пестрят описаниями «видений» многочисленных визионеров и красочными рассказами оживших после «обмирания», а равно подмётными грамотами с разъяснениями оных... А теперь, Константин Петрович, попробуйте ответить мне на такой вопрос: отчего нынче видения потустороннего мира изменились столь разительным, можно сказать, радикальным образом?

– Так ведь, времена меняются... – неуверенно произнёс Константин Петрович.

– Во-от! – протянул Костромиков и наставительно воздел указательный палец. – К чему и веду. Именно, что меняются времена, а с ними – и наша ментальность, наши представления о загробном существовании. *Tempora mutantur et nos mutamur in illis*. И заметьте, мы с вами ограничились одним только христианским средневековьем и отнюдь не затрагивали Античность, Древний или, вообще, Языческий Мир. А ведь граждане греческих полисов и Римской империи в предсмертных видениях наблюдали Аид либо Тартар, в точности соответствующие красочным описаниям Гомера, Посидония и Вергилия; вавилоняне и иудеи устремлялись мыслями в «безвидные» и мрачно-дремотные пространства Араллы и Шеола. Обитатели страны Кемет,

«несуразной» Земли Египетской, – к сомнительным (зачастую, каннибальским) удовольствиям Полей Иалу или сумрачным ужасам Аменти; язычники-скандинавы же в аналогичных ситуациях оказывались в Вальгалле, со всем её кровопролитно-прожорливым великолепием, и лицезрели Одина «со оступными его силами».

– Теперь я наконец начинаю улавливать, куда вы клоните, – заметил Константин Петрович, впрочем, безо всякого удовольствия.

– Ага! Улавливаете! И ведь правда, совершенно же очевидно, что доктор Моуди и все, кто разделяет его «научную» (во всяком случае, якобы нерелигиозную) уверенность в существовании жизни после смерти, опираются на абсолютно идентичную средневековой системе доказательств.

– Эка, хватили! В средние-то века современной медицины и методов исследования и помину не было...

– Я не о том. Но согласитесь, все их доказательства реальности потустороннего мира строятся на одном: в коматозном состоянии люди видели *нечто*, а поскольку все они или большинство из них, видели одно и то же, теорема считается доказанной – жизнь со смертью не кончается. Между тем в действительности речь идёт вовсе не о «медицинском факте», а именно о чрезвычайно симптоматичном социально-психологическом феномене нашего времени.

– Опять вы о психологии... Психология, знаете ли, у всех разная...

– Нет, нет! Во все времена, будучи в «состоянии, близком к смерти», просто в забытии или молитвенном трансe, люди видели именно то, что *хотели и предполагали* увидеть... Нынешние *homo sapiens* смертельно боятся смерти, и они видят блаженный потусторонний мир, в котором этой самой смерти попросту нет. Недаром, по свидетельству того же Моуди, пациенты его возвращались со стога сего парадиза более смелыми и менее страшасьимися небытия. Страх современного человека перед неизбежностью земной кончины столь велик и всепоглощающ, а привычка к удобствам и удовольствиям вещной цивилизации столь сильна, что приводит к полному пересозданию самого образа Мира Иного. Обратите внимание, в нём нет уже ни Высшего Суда и самого Судии, ни наказания, ни, соответственно, Ада или Чистилища. Один сплошной Рай! Для всех без исключения... Даже бандиты-мафиози, благополучно пережившие клиническую смерть, взахлёб рассказывали о красоте райских куц! И не важно, сколько душ они успели загубить на этом свете, не важно, что они и не думали о раскаянии... Человечество, стремительно освобождается от чувства греховности и метафизической вины, оно даже не сознаёт себя достойным загробного блаженства, оно воспринимает его как *некую данность*. Дескать, это то, что *ему положено безо всяких затрат или предварительных условий*... Если вы проанализируете воспоминания тех, кто пережил СБС, то поймёте, что ментальность их основана на моральной безответственности и потребительстве...

– Вот спасибо, – с усмешкой поклонился историку Константин Петрович. – Припечатали! Оказывается, я морально безответственный потребитель.

– Как и все мы, – невозмутимо согласился Костромиров. – Полагаю, окажись я в вашей ситуации, и мне бы привиделось нечто аналогичное. Я ведь не исключение, такой же продукт своего времени, как все прочие. Тоже привык к удобствам. А нынешнему человеку желательно приобрести, помимо уже существующих, ещё одно, дополнительное удобство – благоустроенный

и беззаботный Рай. При этом приобрести его, так сказать, бесплатно и безо всяких усилий. Главное же – изгнать из собственного сознания образ смерти, ибо он сделался непереносимым для психики современного человека. Абсолютно непереносимым.

– Будто бы раньше к смерти было иное отношение, – возразил Константин Петрович.

– Безусловно иное, – ответил Костромиров. – Судите сами, те же Средние века были временем господства несокрушимой веры, временем, когда вся картина Мироздания центрировалась вокруг Бога, эдакой всеобъемлющей регулятивной идеи. Нашим предкам не требовались никакие «научные» доказательства реальности Того Света и неизбежности посмертного воздаяния. Всё просто: грешил – марш в пекло, успел раскаяться – ступай в Чистилище, а там, глядишь, через пару-тройку веков, и в Рай пустят, если очень попросишь. Они не столько боялись физического конца, сколько ими владел страх Божьего проклятия. Ныне же бывшая Христианская цивилизация, к великому сожалению, давно уже вышла из этого безмятежного существования, секуляризовалась, и несмотря на возрождение в кое-каких группах населения религиозности, а вернее, её суррогата – воинствующего невежества, уже никогда не возвратится на прежнюю теологическую стезю... Раньше героями были святые и подвижники веры, сейчас – врачи, парапсихологи, медиумы и экстрасенсы (ибо на них вся наша надежда!). Тогда препоной перед страхом смерти служила искренняя вера, чаяние «воскресения мертвых и жизни будущего века», теперь – судорожные и тщетные потуги эту веру обрести, притом веру стыдливую, рядящуюся в наукообразные одежды. Не оттого ли мы склонны смешивать в одну кучу науку и суеверия, предмет веры и предмет рационального знания, данные опыта и латентный страх смерти с неизбывной надеждой на бессмертие?

– Короче, вы хотите сказать, что современные видения «света по ту сторону», – не исключая и мой скромный опыт, – стоят не больше, чем «Сонное хождение блаженной старицы Февронии в адово пекло и чертоги райские», – резюмировал Константин Петрович.

– Именно, – подтвердил Костромиров. – Или экстатические плачи полумной Марджери Кемп, мытарства души инокини Феодоры и чувственные откровения Юлианы Нориджской... Кстати, о чувственности... Вам не кажется, что об изменении наших общих представлений о загробном существовании свидетельствует, кроме всего прочего, и значительная трансформация понятий о допустимых нормах взаимоотношений души с телом?

– Это как? Не понимаю... Что вы имеете в виду?

– Ну вот, хоть у той же упомянутой Юлианы – английской затворницы-визионерки конца XIV века – человеческое тело репрезентируется преимущественно негативно. Если память меня не подводит, нориджская анахоретка описывает собственные видения во время клинической смерти приблизительно так: «И воспарив, душа моя узрела тело, недвижно на земле лежащее. И показалось оно мне гнетущим и жутким, без очертаний и форм, аки яма грязи смердящей, будто болото, гадкое, зловонно разлагающееся и безмерно мерзопакостное» ... Вряд ли вы обнаружите что-либо подобное в рассказах современных коматозников, благополучно переживших «состояние, близкое к смерти». А почему? Да всё по той же причине – из-за кардинального изменения ментальности. В нынешнее время мало кто уже воспринимает человеческое тело только как «сосуд греха», символ «великой

гнуности нашей смертной плоти». Поменялась эпоха, поменялся и характер видений... Другими словами, как ни крути, но тот факт, что описанные доктором Моуди галлюцинации повторяются у многих лиц, следует расценивать отнюдь не как «доказательство» существования Мира Иного, но исключительно в качестве социально-психологического феномена.

– То есть и само количество свидетельств не имеет, по-вашему, ровно никакого значения?

– Совершенно верно, никакого. Да и вообще, если критерий истинности искать в численном преобладании, то взгляды тупых, невежественных и суеверных людей, которые, к сожалению, составляют подавляющее большинство человеческого рода, получают явное преимущество.

– Ну, это, положим, старая песня. Извечный спич консерваторов и антидемократов всех мастей. Ещё Моррас и Генон утверждали, будто мнение большинства неизбежно выражает мнение людей некомпетентных.

– А разве нет? Скажу больше: доминирование количественного фактора – это и есть первородный грех всякой демократии. Особенно так называемой либеральной демократии.

– Вечно одно и то же: во все времена апологеты монархии и вообще сильной власти твердят о том, что демократия и либерализм враждебны любому порядку и даже самой культуре. Дескать, влекут за собой атомизацию общества, «войну всех против всех», чреваты оклократией, упадком культуры и прочими мерзостями.

– Так и есть. Но мы отвлеклись... Какой бы пример вам привести ещё? – Костромиров задумчиво огляделся по сторонам, будто высматривая подходящие иллюстрации для своих силлогизмов. – Ну вот, хотя-бы... Вам, вероятно, известно, что ещё не столь давно, в относительно недалёком прошлом, на западе Европы бытовало поверье, будто короли Франции, потомки Гуго Капета, начиная со второго Капетинга – Роберта Благочестивого, а равно английские монархи, начиная с первых Плантагенетов, обладали уникальной способностью простым наложением рук исцелять золотуху? Причём таковая чудотворная сила отнюдь не зависела ни от качеств их духовности, ни от христианской ценности их жизни, а считалась неотъемлемым свойством, положенным этим особам *ex officio*, по должности. Известно? Ну вот... Можете себе представить, что в течение почти целых восьми столетий, с X по XIX век, – а последним английским венценосцем исцелявшим золотушных был Яков II Стюарт, последним же французским – Карл X, ажно в 1825 году, – так вот, с X по XIX век по данному поводу накопилась огромная литература, большое количество независимых свидетельств, значительная статистика. Я разумею, естественно, статистику, подтверждающую целительские способности августейших особ. Например, только в Иванов день 1633 года Карл I одним махом излечил шесть сотен пациентов в королевской часовне в Холируде, а Людовик XIV в Великую Субботу 1666 года исхитрился помочь восьмистам больным. Это при том, что и он, и его отец, Людовик XIII, совершали обряд возложения рук на золотушных ежегодно, в дни почти всех великих, двенадцатых праздников. Согласно сохранившимся архивным документам, ежегодное количество исцелённых доходило до нескольких десятков тысяч человек. Сами понимаете, учитывая число страждущих, монархи не смели и помыслить отказаться от сей обязанности... Хотя того же Людовика XIII, особенно во времена его малолетства, эта «докука» буквально приводила в ярость — он и сам смертельно боялся

подхватить какую-нибудь заразу и не раз говорил, что его глупые подданные думают, будто он король не живой, а карточный, отчего ему и чума не страшна... И что же? Прикажете поверить оному чуду? Сей наследственной привилегии английских и французских монархов? Ведь свидетельств преемственное множество! Тысячи свидетельств! Причём самых разнообразных, в том числе, исходящих и от вполне квалифицированных по тем временам медиков. И все они в один голос кричат о чудесном избавлении золотушных от гложущего и снedaющего их недуга, усматривают здесь экспериментально подтверждённый факт, истину, ясную, как солнце... Но золотуха – это туберкулёз. Туберкулёз же невозможно вылечить наложением ничьих рук. Пускай даже самых что ни на есть августейших. Как же соотнести, как согласовать эти самые свидетельства со здравым смыслом? А?

Костромиров выжидающе уставился на Константина Петровича; поскольку ответа не последовало (Сопоткин лишь молча пожал плечами), продолжил:

– Ага. Таким образом перед вами открываются только два пути: либо встать на сугубо научную точку зрения – тогда придётся, волей-неволей, отмести все эти десятки тысяч свидетельств, признать пресловутые исцеления следствием самовнушения, игрой чересчур богатого воображения, стечением обстоятельств, заблуждением, результатом массовой дремучести или прямым обманом – то есть, по существу, удовольствоваться любыми *возможными* объяснениями, кроме чудесных, либо попросту уверовать в истинность «чуда». Ибо в её (истинности) пользу говорит уже само количество непредвзятых очевидцев сверхъестественных исцелений... Вам, например, что ближе?

– А вам? – в свою очередь поинтересовался Константин Петрович.

– Лично я, понятное дело, предпочту первый путь. Мне представляется, дело тут во многом опять-таки в силе коллективных иллюзий. Даже если отбросить и не принимать во внимание все прочие аспекты, стоит вспомнить, что золотуха, туберкулёзный аденит – болезнь, которая, временно отступая, легко создаёт у больных обманчивую видимость полного выздоровления. Ибо внешние её проявления: опухоли, фистулы, нагноения лимфатических узлов – часто проходят сами собой, с тем чтобы вскоре появиться вновь на том же либо на другом месте. И, разумеется, коль скоро через некоторое время (неважно, какое) после целительного обряда в состоянии больного наблюдалось улучшение, пусть даже незначительное, этого оказывалось уже более чем достаточно для оправдания веры в чудотворную власть королей. Само собой, никому бы и в голову не пришло узреть в таком «исцелении» чудо, не будь люди загодя приуготовлены к тому, что от монарха следует ожидать чудес. Однако – стоит ли напоминать? – именно этого от них все и ожидали.

– Ну, хорошо, допустим. А как быть со случаями, когда монаршим пальцам не удавалось изгнать недуг? – полюбопытствовал Сопоткин. – А ведь таковых наверняка тоже было великое множество!

– О них просто-напросто очень скоро забывали. Таков счастливый оптимизм набожных душ. Твёрдую веру не так легко смутить... Даже если вы докажете такому верующему, что в его платяном шкафу вовсе не обитает дьявол, докажете, как дважды два, он всё одно заявит, что дьяволу, дескать, именно и хочется, чтобы в него не верили. Оттого и разговаривать с подобными убеждёнными праведниками – сплошное мучение, а спорить с

ними – всё равно, что полемизировать с заезженной патефонной пластинкой... Как вы, надеюсь, заметили, параллель с «видениями по ту сторону» напрашивается сама собой... Видите ли, идея бессмертия настолько глубоко укоренилась в человеческом сознании, что даже большинство нерелигиозных, вполне рационально мыслящих людей, которые умом отрицают бессмертие, *на самом деле* в него верят. Понимаете? Гордыня! Гордыня и страх. Ну, никак не можем мы вообразить себе небытия, полного уничтожения собственной уникальной личности. В этом смысле, честнее многих вообще-то, на мой взгляд, были ацтеки. Они, как вы знаете, говорили: «*Мы не верим, мы боимся!*»

– Тьфу! Своим пошлым рациональным подходом вы отравили лучшие и самые светлые мои воспоминания и надежды, – с негодованием сказал Константин Петрович. – Или почти отравили. Ибо я не могу утверждать, что полностью убеждён вашими доводами.

– Чего же вам не хватает для полного убеждения? – с улыбкой змий поинтересовался Костромиров.

– Не старайтесь, всё равно не получится, – заверил его литератор. – Надежда, как известно, умирает последней... Вот вы тут упомянули о неповторимости каждой отдельной человеческой личности... Но ведь именно поэтому действительно трудно – я бы даже сказал, невозможно! – представить эдакую глобальную, нелепую и (не побоюсь этого слова!) преступную расточительность Создателя. Или Природы, если вам так больше нравится. Расточительность, раз за разом допускающую безвозвратное уничтожение собственных уникальных творений. Как-то не укладывается это в голове. По крайней мере, в моей голове. Всё равно, как если бы гениальный художник, прежде чем создать очередной шедевр, предавал огню все предшествующие. Дикость какая-то! Нет, не верю... И вообще, полагаю, что на данном уровне незнания человечество не готово выносить окончательный вердикт о реальности или нереальности посмертного существования. То же, как я уже вчера упоминал, относится к призракам и иным необъяснимым явлениям. Кстати, о необъяснимых явлениях...

Оба приятеля так увлеклись беседой, что не заметили, как небо заволкло тучами, солнечные лучи стали меркнуть, с трудом пробиваясь сквозь сизую пелену, и, наконец, погасли вовсе, будто электрический свет после третьего звонка в театре. Только ослепительная вспышка молнии и последовавший за ней оглушительный, подобный пушечному выстрелу, раскат грома заставил их вздрогнуть и прервать спор.

– Что это? Осенняя гроза? – удивился Сопоткин. – Этого ещё не доставало!

– Ну, дождя, кажется, покуда не наблюдается, – отозвался Костромиров, тревожно осматриваясь по сторонам. – Однако стоит поискать какое-нибудь укрытие. На всякий случай. Зонта я с собой не прихватил. Вы, смотрите, тоже.

– Так ведь ничего и не предвещало... Пойдите! Вон там, за теми кустами что-то такое коричневое. Видите? Вон там, у поворота! Похоже на черепичную крышу...

Литератор и историк немедленно ускорили шаг и устремились в указанном направлении.

Через несколько метров их взорам и в самом деле открылась небольшая летняя беседка, сплошь, по самую кровлю увитая диким

виноградом, резная листва которого густо подёрнулась осенней медно-красной патиной.

Войдя внутрь, Сопоткин и Костромиров обнаружили, что не только они двое решили воспользоваться случаем и спрятаться от надвигающейся непогоды: в дальнем левом углу, на узкой скамье, опоясывающей все три стены строения, уже сидел какой-то человек. Из-за царившего внутри полумрака, усугублённого ненастьем, приятели не сразу его разглядели. Первым незнакомца увидел Константин Петрович и вежливо осведомился, не будет ли с их стороны бестактностью нарушить его уединение. В это время Костромиров, не дожидаясь ответа, без церемоний уселся на скамью и с блаженным вздохом вытянул ноги, едва не полностью перегородив выход.

Незнакомец, впрочем, не обратил ровно никакого внимания ни на появление незваных гостей, ни на вопрос Сопоткина; он продолжал сидеть молча, сильно сторбившись и низко опустив голову, покрытую траурного цвета шляпой с широкими, опущенными вниз полями; руки его покоились на коленях, а вся поза была, казалось, исполнена некоей скрытой печали. Длинный тёмный плащ с поднятым воротником, судорожно зажатые в пальцах правой руки белые лайковые перчатки, сама мертвенная бледность этих тонких нервных пальцев и какой-то почти скорбный изгиб стана – придавали облику незнакомца таинственный флер загадочности. А быть может, свидетельствовали о мрачном состоянии духа или о неотступно терзающих его разум нравственных муках. По крайней мере, именно такое впечатление создалось у Константина Петровича, покуда он разглядывал согбенную фигуру неизвестного. Разумеется, то были лишь совершенно безосновательные фантазии профессионального литератора, тем не менее, он решил их проверить и сказал вполголоса, обращаясь к Костромирову:

– Кажется, мы с вами помешали. Нам тут не рады, не находите? Может, поищем другое место? Да и тучи, вон, слишком высоко плывут, не очень похожи на дождевые...

Даже если Костромиров и собирался как-то отреагировать на подобное, совершенно неуместное, по его мнению, предложение, то не успел, ибо как раз в это самое мгновение мрачный господин внезапно резко поднялся и вышел из своего угла. Рассеянно посмотрев на стоящего перед ним Сопоткина, он перевёл взор на Костромирова и несколько секунд равнодушно того рассматривал; взгляд незнакомца – спокойный и тяжёлый – оставлял неприятное впечатление, точно застывший взгляд змеи или какого иного пресмыкающегося. Так что Константин Петрович даже вздохнул с облегчением, когда тот, всё так же молча, быстро выскочил из беседки и стремительно зашагал прочь. К удивлению литератора, прямо перед исчезновением незнакомца Костромиров привстал со скамьи и даже протянул руку, будто хотел того задержать или о чём-то спросить. Но было поздно – мрачный тип уже скрылся за ближайшим поворотом.

– Чёрт возьми! – выругался историк. – Быть того не может!.. Константин Петрович, вы хорошо разглядели физиономию этого господина?

– Совсем не разглядел, – признался Сопоткин. – Во-первых, шляпа, а потом – черты лица очень уж обыкновенные, невыразительные и точно смазанные... А вам зачем?

Некоторое время Костромиров в необычном для него нервном возбуждении мерял шагами беседку, наконец успокоился и задумчиво произнёс, медленно роняя слова:

- Странно, очень странно... Готов поклясться, что это был он!
- Кто «он»? – не понял Константин Петрович.
- Помните, мы вчера вечером говорили с вами об одном моём давнем приятеле? Вы ещё признались, что даже читали какой-то его роман... Забыл название...
- Как величать-то вашего приятеля?
- Рузанов.
- Какой Рузанов? – удивился Константин Петрович. – Алексей Рузанов? Писатель? Как не помнить! Автор «Ликантропии»... Но позвольте! Вы же давеча рассказывали, что он того... вроде как помер на днях?
- Вот именно! – воскликнул Костромиров. – Помер! По крайней мере, мне так сообщили...
- Ну, да. Мы ведь с вами и помянуть его успели. Выпили за упокой души, как следует, честь по чести...
- Ага. Так вот, повторяю: готов поклясться, что сейчас видел именно его, Лёшку! Алексея Рузанова. Абсолютно одно лицо! Глаза только какие-то странные... Не его глаза...
- Ну, мне-то трудно судить... Я ведь лично с ним знаком не был. Роман – это, да, – читал. А вот так, чтоб лично...
- М-да, дела... – Костромиров вновь на некоторое время впал в задумчивость, затем резюмировал:
- Как ни крути, а тут одно из двух: либо я всё-таки обознался, либо меня зачем-то намеренно ввели в заблуждение. Первое предположение представляется мне наиболее вероятным...
- Или же, профессор, вы и вправду видели призрак! – с видимым удовольствием воскликнул Сопоткин.
- Ну-ну, не ликуйте раньше времени. Скорее уж у меня просто чересчур разыгралось воображение.
- Ха! Воображение! Воображение, знаете ли, – субстанция весьма призрачная.
- Верно, – с усмешкой согласился Костромиров. – Призрачная. С этим не поспоришь.

Беседа вторая

Демоны упорядоченного и боги случая

*Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.*

О. Мандельштам

Как-то раз, а именно пасмурным вечером первого ноября 2005-го года, в День Всех Святых, два приятеля, – профессор Института востоковедения РАН Горислав Игоревич Костромиров и известный литератор Константин Петрович Сопоткин, – незадолго перед тем случайно встретившиеся в Дублине, степенно прогуливались перед фасадом Тринити-колледжа.

Достоверно не знаем, о чём именно они беседовали, но как раз в тот момент профессор Костромиров говорил следующее:

- Мне представляется, порядочный дурак куда опаснее для страны, чем записной мошенник. Не помню, кто точно, но, по-моему, Фрэзер, писал, что не будь король Георг III тупым, но честным малым, так и величайшего бедствия в истории Англии – разрыва с Америкой – удалось бы избежать.
- Таковой разрыв породил новое и, не побоюсь этого слова, великое государство, – отвечал Сопоткин.
- Ну, породил. И что с того?
- Как это что? Мир с той поры изменился!
- Согласен. Изменился. Но не в лучшую сторону.
- А вы не любите Соединённые Штаты Америки, профессор.
- Да, я не люблю Соединённые Штаты.
- Отчего же?
- Горислав Игоревич поморщился, словно разжевал лимон.

– Видите ли, эта страна представляется мне взрывоопасным резервуаром с гремучей смесью самого мерзкого ханжества, лицемерия и кликушества неоллиберализма. Этаким театром Абсурда... Актёры сего театра, а точнее – балагана, с одинаковым энтузиазмом готовы внимать проповедям толстомясых теле-евангелистов и участвовать в пошлейших гей-гульбищах. Отплясывать в молельных домах под псалмы гедониста Давида и осуждать к тюремному заключению какую-нибудь несчастную учительницу, имевшую неосторожность переспать с половозрелым семнадцатилетним лбом. Дескать, она нанесла непоправимый вред психике мальчика, который до той поры и не ведал, для чего у него промеж ног причиндалы болтаются!.. Средний американец – это жуткий гибрид, мутант, этакий продукт безответственного скрещивания Вильяма Пенна с коллективными Хью Хефнером и Валентиной Серени. Пуританство, помноженное на «демократические ценности» – что может быть отвратительнее? И страшнее? Прибавьте к этому доведённую до идиотизма слащавую толерантность, парадоксальным образом уживающуюся с маккартистской агрессивностью, приплюсуйте кругозор питекантропа... Да что говорить, янки в буквальном смысле пропитаны ложью. В буквальном! Как пьяница – алкоголем. Короче, Содом и Гоморра отдыхают.

– Абсолютно ложное и неполиткорректное заявление, – с хмурой усмешкой заметил Сопоткин.

- Я и политкорректность – две вещи несовместные.
- Нашли чем гордиться. Тем более, на мой взгляд, вы просто не понимаете менталитет этого народа. Вообще не понимаете Америки. Оттого и нафантазировали себе какого-то Фредди Крюгера вместо среднего американца. Признаюсь, я о вас лучше думал.
- Ну уж, каков есть.
- Рассуждая об Америке и американцах, следует, прежде всего, помнить об Ирвинге, Купере, По, Готорне, Мелвилле, Лондоне...

– Да, да, – прервал приятеля Костромиров, – об Эмерсоне, Торо, Лонгфелло, Твене, Фолкнере, Драйзере и прочих великих... Всё это было и былём поросло. Это у нас в России их по-прежнему читают. А обычный американец не только их не читал, но чаще всего и вообще знать не знает. Так называемые же интеллектуальные элиты озабочены вовсе не культурой и традициями, а правами трансгендеров на сортиры по выбору. Это и есть,

по их мнению, основная проблема современности... Даже угроза глобальной войны ничто для них по сравнению с опасностью, исходящей от белых гетеросексуальных мужчин, ибо все таковые суть гомофобы, женоненавистники и расисты... Впрочем, подобное становится уже не только американской, но и общеевропейской тенденцией. То есть и не тенденцией, а настоящей религией! Отказ от собственной истории, её агрессивное отрицание – повсеместный тренд на Западе. Последовательное и целенаправленное уничтожение образования, всех нравственных устоев, общепринятых норм морали, института семьи, а значит и самого общества... Действительно, управлять аморфной невежественной массой куда как легче! Ещё Лао-цзы писал, что должно не просвещать народ, но делать его глупым, ибо трудно править людьми, когда у них много знаний... Не удивлюсь, коли в недалёком будущем и здесь в Ирландии узаконят, к примеру, однополые браки или ещё чего похуже...

– Что?! Однополые браки? – Сопоткин расхохотался. – Окститесь, профессор! Не смешите мои тапочки. Подумать только, однополые браки в старой доброй Ирландии! Немыслимо. Поверьте, скорее небо рухнет на землю, чем нечто подобное станет возможным. Это же оплот католицизма, здесь даже аборт запрещены. А вы говорите...

– Ну что ж, время покажет¹, – сказал профессор Костромиров, глянув на голубой с золотом циферблат на фронтоне Тринити, – а сейчас приглашаю вас отобедать или, скорее, уже отужинать в ресторации. Отказы не принимаются и не рассматриваются: жрать хочу до изумления! Боже, да я просто одержим демоном чревоугодия, будто сам Катал Мунстерский. Диплодока бы умял. Да и вам, мой дорогой, после пережитых треволнений, не помешает как следует подкрепиться.

Константин Петрович не успел ничего ответить, как профессор уже подхватил его под руку и решительно повлёк прочь от Колледжа Троицы вниз по Дам-стрит, мимо аляповатой громады Банка Ирландии, мимо здания ратуши, неумело косящей под римский Пантеон, мимо тюремного великолепия бывшего Синодального Зала, по направлению к Дублинскому замку и площади Крайс-Чёрч.

– Куда именно мы идём? – спросил Константин Петрович, как только приноровился к размашистой походке Костромирова и привёл в норму сбившееся дыхание. – Куда глаза глядят или в какое-то определённое заведение?

– Да, – ответил Горислав Игоревич, сбавляя шаг, – в определённое. Мне настоятельно рекомендовали ресторан «Лорд Эдвард», уверяли, будто кухня там отменная, официанты вышколены, сервис безупречен, а посетителей до семи вечера не слишком много.

– Кажется, вы выбрали один из самых дорогих, – посетовал Сопоткин. – И потом, насколько мне известно, «Лорд Эдвард» специализируется на морепродуктах, а я не большой охотник до моллюсков и прочих склизких тварей.

– Успокойтесь, вам понравится, – заверил его Костромиров.

Действительно, оказалось, что сам ресторан расположен на втором этаже четырёхэтажного георгианского дома, а первый этаж оно, под той же

¹ Регистрация однополых браков в Ирландии стала возможной с 01.04.2011 г., т.е. через пять с небольшим лет после описываемых событий, а в 2015 году был принят соответствующий закон.

вывеской занимает вполне уютный и почти традиционный паб. Внутри всё выглядело довольно просто и мило: стены, обшитые панелями из морёного дуба, длинная барная стойка красноватого мрамора, приглушённый свет, тихое повизгивание невидимой волынки, а главное – никаких тебе подсвеченных, настырно журчащих фонтанов, пыльных фикусов и пальм в майоликовых горшках; вместо них по углам зала теснились пирамиды пузатеньких бочонков, не то пивных, не то винных... Короче, очень симпатичное заведение, без излишеств, но симпатичное.

Качество услуги также приятно порадовало Константина Петровича. Нельзя сказать, что кельнеры носились как угорелые, но они и не пребывали в сонной прострации, столь характерной для официантов ленивых южных стран. Если в какой-нибудь трактории близ Кампо-де-Фьори или кабачке в Байрру-Алту (где только не приходилось трапезничать Константину Петровичу!) любой представитель этой профессии казался Сопоткину погружённым в сомнамбулический транс, то здесь, на площади Церкви Христовой, они походили скорее на бойких виноградных улиток, стремительно ползающих от столика к столику.

Вкушать пищу в общем зале приятелям не пришлось: пока Константин Петрович глазел по сторонам, перед ним и Костромировым материализовался представительного вида метрдотель и предложил проследовать в одну из крошечных кабинок, целый ряд которых занимал восточную, прилегающую к входу сторону помещения. Оказалось, Костромиров загодя позаботился сделать соответствующий заказ, и теперь приятели имели возможность наслаждаться обедом и беседой в относительном одиночестве, одновременно получая удовольствие от наблюдения со стороны за публикой в зале (кабинки были отделены одна от другой, но дверей не имели).

Сопоткин принялся изучать меню, а Горислав Игоревич уткнулся в карту вин, задумчиво шевеля кустистыми бровями и, то и дело, дергая себя за кончик носа.

Обилие и разнообразие блюд (в том числе, из морепродуктов) и в самом деле поражаало воображение, но мидии, всякие панцирно-клепшеватые ракообразные, а равно гребешки, устрицы и красные водоросли, к счастью, не превалировали. Константин Петрович засомневался, что такое ему выбрать: основательное ирландское рагу, питательный дублинский кодл в бульоне из окорока или нежнейшего голуэйского лосося под соусом из сливочного масла, с кресс-салатом и колканноном.

– Что закажем? Виски? – поинтересовался между тем Костромиров, оживлённо потирая руки. – Как вам *Old Bushmils* девяносто третьего года?

– Ни в коем случае! – вскинулся Константин Петрович. – И потом, у вас, кажется, изжога от сего зелья? Когда мне не изменяет память, *жучкайшая* изжога?

– Прошла, – коротко ответил Костромиров.

– Вот как? Хм... Я бы на вашем месте не рисковал, – заметил Константин Петрович с укоризной. – Впрочем, как хотите, а я возьму пиво. Всё ж таки мы в пабе. Да и не думаю, что мой «больной и маленький» организм выдержит ещё одну атаку здешнего ячменного нектара. Полагаю, даже запах его будет для меня вредоносен.

В это время к ним подплыл официант и подал холодные закуски — два блюда с несколькими видами местных сыров и маринованные свиные ножки. Сопоткин, в конце концов, попросил чёрный пудинг, капусту с беконом и

пинту красного эля, а профессор ограничился рагу из баранины, грудинкой, тушёной в портере с гвоздикой, базиликом и овощами, ну и ещё порцией картофельных оладий сверху. Жирненьких и очень аппетитных на вид устриц, свежайших морских гребешков, а равно таящих во рту мидий *a la mariniere* Горислав Игоревич заказывать не стал, из уважения к брезгливой разборчивости приятеля.

– Есть у вас местное вино? – со вздохом спросил Горислав Игоревич, закрывая карту.

– Не держим, – ответил официант с гордым достоинством. – Из вин рекомендовал бы «Шато-Марго», «Шардонне» либо «Кьянти», в зависимости, что предпочитаете – красное или белое. Всё отличного, коллекционного качества. Имеется также замечательный сетубальский мускат...

Горислав Игоревич вновь вздохнул и тоже заказал пиво, но тёмное, «Гиннесс», две – нет! – три пинты.

В ожидании заказа Сопоткин от нечего делать попытался рассмотреть публику в зале, это оказалось довольно затруднительно – перед самой их кабинкой мерцал светильник, свисающий с потолка на длинной бронзовой цепочке. И хотя приглушённый красноватый блеск его отнюдь не слепил глаза, но заметно мешал обзору, отчего смутные силуэты за столиками виделись Константину Петровичу безликими тенями дантова Лимба. Стонущие звуки волынки и невнятный шум голосов усугубляли впечатление. На одно безумное мгновение Константину Петровичу причудилось даже, будто и крючконосый профиль расположившегося напротив приятеля разительно смахивает на канонические изображения князя мира сего, того самого отца лжи, которому всемогущий Творец с неизменной иронией доверяет открывать человечеству наиболее горькие и неудобные истины.

Костромиров отхлебнул из высокого бокала стаут, – его принесли первым, вместе с пинтой красного эля для Константина Петровича, – неодобрительно поморщился и залпом осушил бокал. Впрочем, буквально через десять минут над их столиком уже поднимался лёгкий душистый пар от горячего рагу, струились соблазнительно-терпкие, приятно щекочущие и дразнящие обоняние ароматы тушёной в портере грудинки и целой груды резаных большими круглыми ломтями колбас из свиной крови со всевозможными приправами; колбасы (страшные на вид) исходили мутными слезами густого жира, именовались чёрным пудингом и способны были, если верить кельнеру, удовлетворить самый взыскательный вкус и даже у анорексика возбудить зверский аппетит.

Как только первый голод был утолён, а желудки обоих приятелей позволили им с меньшим усердием и частотой работать ножом с вилкой, Костромиров решил сделать небольшой антракт между второй и третьей пинтой и принялся набивать голландским табаком короткую вересковую трубку.

– А интересный субъект этот кельнер, – заметил между тем Константин Петрович, поливая капусту с беконом соевым соусом. – Презанятный, я бы сказал. Обратили внимание?

Горислав Игоревич хмыкнул и вопросительно приподнял брови, ожидая продолжения.

– Да. Такой, знаете, образчик настоящего, природного ирландца. Сангвиник желчного склада.

Костромиров прищурился, поднося к трубке зажжённую спичку, во взгляде его по-прежнему читался немой вопрос.

– Заметили, какой у него своеобразный череп? Можно сказать, уникальный череп.

Костромиров запыхал трубкой и закатил глаза, видимо пытаясь вспомнить, в чём именно могло заключаться уникальное своеобразие черепа местного официанта.

– А? Заметили? Удлинённый, приплюснутый с боков – натуральный кельтский долихоцефальный тип.

– Вот как? – Костромиров наконец раскурил трубку. – Разве существует какая-то особая кельтская форма черепа? Не знал.

– Безусловно, существует. Если верить этнологам.

– Антропологам, – поправил Костромиров.

– Ну, да. Оговорился. Конечно, антропологам. Но ведь и наука об этносах тоже чем-то таким похожим занимается.

– Нет такой науки! – заявил Костромиров.

– Вы меня удивляете, Горислав Игоревич, – с усмешкой заметил Сопоткин. – Иной раз я просто не знаю, смеяться или возмущаться безапелляционности ваших суждений. Так, стало быть, так-таки и нету? Смею напомнить, что этнологию преподают и изучают в ВУЗах. К примеру, на историческом факультете Московского государственного университета имеется кафедра этнологии. Кому-кому, а уж вам-то должно быть об этом хорошо известно...

– Знаю, знаю, – прервал его Костромиров. – Но что это доказывает? Я нисколько не удивлюсь, коли в ближайшем будущем в том же МГУ откроется ещё и кафедра Закона Божьего. И что же? Прикажете после этого немедленно уверовать? И потом, даже если некоторая научная дисциплина – та же этнология – эмпирически существует, из этого ещё не следует, что объективно существует её предмет. Думаете, для рождения такого предмета довольно лишь позаимствовать греческое словцо? В таком случае и астрология – вершина научной мысли. Видите ли, дорогой Константин Петрович, всё дело в том, что я предпочитаю ясные формулировки... Вот, скажите, что такое этот самый «этнос», изучением которого и призвана заниматься этнология?

– Но я же не этнолог и не этнограф, чтобы давать точные определения и толковать о терминах, – возмутился Сопоткин.

– Тогда просто попробуйте сформулировать, чем, по-вашему, «этнос» отличается от «народа», «нации», «расы», «народности», «племени» или даже «цивилизации»? Затрудняетесь? Должен вас успокоить – не вы один. Дело в том, что ни у кого из «столпов» сей науки вы тоже не найдёте не только внятного ответа на этот вопрос, но и непротиворечивого и сколько-нибудь чёткого определения «этноса». Уверяю вас! Ни у Бромлея, ни у Пименова, ни у Токарева или Кузнецова...

– Ах, оставьте. Мне имена этих учёных ни о чём не говорят. Зато я довольно хорошо знаком с трудами известного этнолога и историка Льва Николаевича Гумилёва. В своё время меня впечатлила его теория этногенеза...

– Я с большим уважением отношусь к этому занимательному писателю и схоласту, – вновь прервал собеседника Костромиров, – и готов согласиться с тем, что он этнолог, коль скоро непонятно, что собственно сие такое. Но боюсь, к истории он имел весьма косвенное отношение... Разве, как талантливый популяризатор и интерпретатор-сказочник. Знаете, такого шпенглеровского толка. Единственная область, в которой он действительно,

кажется, слыл профессионалом – кочевниковедение. Во всяком случае, номадические цивилизации особенно милы его сердцу. Кстати, и у Гумилёва невозможно отыскать ничего похожего на научное определение этноса. Самое большее на что он способен, это заявлять, что этнос, дескать, коллектив особей, противопоставляющий себя всем другим коллективам, или использовать порочный круг: этносы есть группы людей, различающиеся по этническому поведению, а этническое поведение – есть ни что иное, как поведение, присущее некоторому этносу...

– Насколько я помню, – возразил Сопоткин, – Гумилёв считал этнос географическим явлением.

– Ну да, – усмехнулся Костромиров, – кому что, а Гумилёву – география. Кормящий и вмещающий ландшафт! Эдакий возврат к Гиппократу. Даже люди со средним образованием (на которых, по собственным уверениям, и рассчитывал этот писатель) знают, что кормит человека (в отличие от прочих животных) его собственный труд, а вовсе не ландшафт. А «вмещающая» роль у ландшафта отнюдь не больше, нежели, скажем, у Вселенной: так не признать ли этнос астрономическим явлением? Логика в заявлениях Гумилёва о географической природе этноса не более, чем если бы энтомолог, ни бельмеса не понявший в тараканах, заявил, что, поскольку он не может классифицировать их ни как психофизическое, ни как социальное явление, он определяет их как географическое явление, ибо любой таракан проживает где-то на Земле...

– Но его теория пассионарности...

– Я вас умоляю! Избавьте меня от этой псевдонаучной зауми. Можно сколько угодно фантазировать о пассионарной индукции, энергетическом поле, конвиксиях и консорциях, вибрации биотоков, влиянии лунного света на рост телеграфных столбов, упражнять читательский интеллект рассуждениями о глубинной биологической природе каких-то географических явлений, оказывающихся вдруг на поверку биофизическими реальностями, облечёнными в социальную оболочку, но это ни на йоту не приблизит вас к пониманию мифического «этноса», а тем паче, к пониманию вполне реального исторического процесса. С тем же успехом ваш Гумилёв мог бы преподнести вместо упомянутых фикций и выдумок *телекинез, торсионные поля, апейрон с флогистроном*, а ещё честнее – *промысел Божий*, и быть уверенным в том, что он этим что-то нам объяснил... И вообще, то, что называют концепцией Льва Гумилёва, давным-давно было выражено адептами чейенского шаманизма. Причём, гораздо более ёмко и доходчиво. Во всяком случае, без наукообразного бреда.

Константин Петрович сокрушённо покачал головой:

– Вижу, вы не большой поклонник учения Льва Николаевича...

– Вот-вот! В самую точку. В терминах вы не ошиблись: в случае с Гумилёвым именно и следует говорить об «учении» и его «поклонниках». Во-первых, превращение любой концепции, теории или гипотезы в непогрешимое по определению «учение» означает её «научную» смерть, а во-вторых, говорить о «последователях» непоследовательной концепции невозможно.

– И всё-таки, чем же, по-вашему, вызвана популярность теоретических работ Гумилёва?

– Претензией на нетипичный подход к историческим проблемам в сочетании с крайней поверхностностью, даже небрежностью, успешно выдаваемой за энциклопедичность знаний. Только этим и ничем иным. Его

«теории» – это антиэмпирическая доктрина, выраженная в профессорскую мантию псевдонаучных толкований. Зачастую он вообще перевоплощается в этакого «Жириновского от истории»... Такой метод весьма импонирует толпе... Впрочем, честно говоря, все мыслители, пытавшиеся создать более-менее связные исторические теории, немедленно попадали в капкан философского видения этой самой истории. Или, вернее сказать, псевдофилософского видения. Увы, но это так... Возьмите кого угодно – Гердера, Гегеля, Тойнби или любезного вашему сердцу Гумилёва – и при непредвзятом исследовании «умственных построений» оных авторов вы вынуждены будете признать вслед за лордом Расселом, что для того, чтобы выглядеть сколько-нибудь правдоподобными, их концепциям требуется хотя бы незначительное, но обязательное искажение фактов, подгонка и подтасовка событий со стороны самого исследователя и изрядное невежество со стороны его почитателей.

– Ух ты! Философия истории тоже провинилась? Тоже «псевдонаучная заумь»?

– Очень уж развито на почве этой так называемой «философии истории» теоретическое словоблудие... словоблудие. Все эти структуралисты и постструктуралисты... Словечка в простоте не скажут.

– Вы что, вообще не допускаете обобщений в исторической науке?

– Отчего же, допускаю. Но только не методом дедукции. К истории применим лишь индуктивный метод.

– Не улавливаю разницу. Может, поясните?

– Охотно. Дедукция – это не научный, но как раз сугубо философский метод, доставшийся нам в наследство от древнегреческих мыслителей. Размышления и основанные на них выводы строятся при этом, исходя из того, что исследователю кажется самоочевидным, а не индуктивно, сообразуясь с предметом наблюдения. Именно так поступали и поступают все творцы всевозможных исторических теорий. Они сначала извлекают из своего ума некую лучезарную аксиому, а после начинают подгонять под неё факты. Гумилёв – не исключение... Насколько помню, он сам писал, что сначала придумал свою «теорию пассионарности», а уж потом принялся строить на её основе всевозможные исторические зиккураты. Подтасовка фактов и событий при таком методе неизбежна. Научный метод полностью противоположен: добросовестный исследователь обязан индуктивно выводить принципы из наблюдений над отдельными фактами. Только так и никак иначе.

– Допустим. Но не кажется ли вам, что на основе такого строго научного подхода никаких широких обобщений сделать невозможно? Не умаляет ли он роль интуиции и озарения в деятельности учёного?

– Конечно. Но практика и опыт показывают, что все подобные «озарения» приносят науке один вред. Во всяком случае, совершенно бесплодны. Вообще, одержимость любыми «сверхценными идеями» в науке до добра не доводит. Таковая одержимость прощительна лишь шизофреникам, но никак не учёным.

– Вона как? От таких утверждений недалеко и до тезиса о кризисе исторической науки. Широко, кстати, ныне распространённого. О бесполезности этой дисциплины.

– Ну уж, нет! При чём тут это? – Костромиров возмущённо нахмурился и с явным раздражением запыхал трубкой. – Ничего похожего я вовсе не имел в виду. История – настоящая, а не выдуманная История!

– необходима человечеству не меньше, чем память – каждой отдельно взятой личности. Выпадение функций памяти приводит, как известно, к идиотизму. Проявление же симптомов ложной памяти – характерный признак целого ряда тяжких психических заболеваний... Да, вы ещё упомянули о кризисе исторической науки... Так вот, этот самый пресловутый кризис, о котором усердно трубит нынешнее (да и вообще, каждое новое) поколение исследователей-дилетантов, является, по существу, лишь кризисом самого поколения, но никак не науки... Это же очевидно. Я хочу только сказать, что История – это всего лишь наука о событиях. Также как математика – наука о числах. Если вы не умеете считать, это ведь не значит ещё, будто математика пребывает в кризисе или даже «не существует»? Не правда ли?

– Но коль скоро вы отвергаете всякие исторические концепции, любую «философию истории», что же движет этими вашими историческими событиями? Какова их логика? Логика исторического процесса вообще?

– Ага. Вот это уже вопрос по существу. Поздравляю.

– Не увливайтесь от ответа, профессор. Так что же движет историей?

– Случай.

Рука Сопоткина, подносящая ко рту вилку с кусочком розового бекона, замерла на полпути.

– Случай?!

– Увы. Всё случайно в этом наислучайнейшем из миров.

– В самом деле?

– Я вполне серьёзно.

– Ну, знаете! Та ещё теория. Не лучше всех прочих.

– Вероятно, – пожал плечами Горислав Игоревич. – Но, согласитесь, и ничем не хуже... Впрочем, я не претендую на создание или поддержку какой-то теории или концепции. Отнюдь. Это всего лишь моё внутреннее убеждение, не более... Видите ли, конечно же, любое историческое событие или цепь таковых событий обыкновенно не лишены *внутренней* логики. Во всяком случае, часто не лишены. Но! Я убеждён, что никакой *внешней* силы, влияющей на эти события, заставляющей их происходить так, а не иначе, именно в такой, а не иной последовательности, не существует. Ни гегелевской «Абсолютной Идеи», ни бергсоновской «интуиции», ни фактора «вызова-и-ответа» Тойнби, ни фетиша «рационализма» Макса Вебера, ни тем паче бердяевской «войны добра против иррациональной свободы» или гумилёвской «пассионарной индукции». Ни-че-го!

– Ничего, кроме случая? – уточнил Константин Петрович.

– Именно. Ничего, кроме абсолютно беспристрастного случая.

– Но случай не предполагает никакого поступательного движения, никакого прогресса. Только хаос.

– Так исторический процесс и нельзя рассматривать как эдакое радостно-поступательное движение человечества сквозь время и пространство в светлое будущее... В ряде случаев этот самый процесс заслуживает название прогрессивного не более чем прогрессивный паралич. Или подобен тому отвратительному языческому идолу, который, по словам Маркса, не желает пить нектар иначе, как из черепов убитых. «Космический оптимизм» уместен разве в философии или теологии (да и то, не всегда), но никак не в истории. Ибо согласитесь, Константин Петрович, история есть наука, совершенно не схожая со всеми прочими... Конечно, на первый взгляд, составляющие её предмет события, как великие, так и частные, вытекают одно

из другого и вроде бы связаны между собою в своеобразную цепь. И можно представить, что разрыв одного звена таковой цепи неизбежно приведёт к исчезновению или, по меньшей мере, видоизменению следующего. Но! Разве станете вы отрицать, что ни одно историческое событие, будь то великое, будь то частное, не только не позволяет с достоверностью предсказать, что за оным воспоследует, но, напротив, весьма часто даёт основания полагать, будто из него получится нечто абсолютно противоположное ожидаемому?.. Собственно, история человечества прямо-таки пестрит примерами, когда одинаковые предпосылки приводили к совершенно разным последствиям... Поэтому тот, кто берётся отстаивать безусловный детерминизм, пусть и чисто материалистический, вопреки всему верит в жёсткую заданность истории её собственными закономерностями, тот волей-неволей превращается из учёного в очередного безумного Нострадамуса. Ага... Так не означает ли это, что в истории вовсе нет никаких определённых законов, правил, ключей, рекомендаций и прочих отправных точек? Не означает ли это, коротко говоря, что бал в оной правит один лишь Всемогущий Случай?.. Ведь если у истории действительно есть какие-то законы, то возникает возможность не только исследовать с их помощью прошлое и настоящее, но и предсказать её, истории, дальнейший ход. Но ход современной истории, вне всякого сомнения, непредсказуем! Разве не складывается он из событий зачастую совершенно невозможных? Или возникающих под влиянием скрещения авторитарных волевых усилий? Не спорю, возможно порой чисто случайно предугадать те или иные события будущего. Однако никак не в целом это самое будущее!.. Это равно как и в естественных науках: можно представить, что когда-нибудь человечество откроет те или иные тайны Вселенной, но нереально сейчас же, загодя озвучить, каковы будут эти открытия. В противном случае сам процесс Познания теряет всякий смысл! Не находите?

– Готовы привести пример?

– Какой такой пример?

– Пример, демонстрирующий и подтверждающий ваше малопривлекательное и, видит Бог, странное для современного учёного идеографическое *Credo*. Убедительно подтверждающий и наглядно демонстрирующий.

– Хорошо, попробую... – Костромиров на мгновение задумался, пригубил третью пинту стаута, затем продолжил: – Представьте себе Пекин... нет, скорее, Флоренцию... эдак середины, а вернее, конца тринадцатого века...

– Гвельфы и гибеллины? – усмехнулся Константин Петрович.

– Да, гвельфы и гибеллины... Ага. И те и другие за давностью лет успели уже порядком подзабыть причины взаимных распрь и обид, десятки раз поменять политические лозунги, девизы, пристрастия и приоритеты. Так что гвельфы отнюдь не чуждаются ныне помощи императоров, а гибеллины не брезгают порой обращаться к авторитету Рима, дабы заручиться поддержкой *pontifex maximus*. Короче, всё смешалось в первом граде Тосканы... Но вражда партий, тем не менее, не затихает. Хотя и становится гораздо менее ожесточённой, кровавой и бескомпромиссной, нежели в начале столетия. Что называется, более цивилизованной... Правда, совсем недавно виднейшие гибеллины изгнаны из города, но без особенного кровопролития, противники их ограничились грабежами и поджогами. Вероятно, именно это позволяет хронистам рассуждать о «золотом веке», чуть не в один голос твердить о том, что Флоренция достигла наивысшего счастья и

процветания, как в отношении величия и силы, так и по многочисленности жителей. Дескать, никогда ещё сей город не был в лучшем состоянии, ибо никогда ранее не достигал он такой многолюдности, богатства и славы... Граждан, способных носить оружие, в самом городе насчитывается около тридцати тысяч человек, а в подвластных ему областях – не менее семидесяти тысяч. Уже вся Тоскана склонилась перед Флоренцией – все там либо её подданные, либо союзники. И, если средневековые анналисты и логографы не привирают, беззаботные флорентийцы, уверившись в сугубой благосклонности к ним Фортуны, проводят едва ли не всё время в удовольствиях, неге и мирных развлечениях, в вечных пирах; уже не на один только ежегодный майский праздник, но чуть не каждый божий день весёлые компании кавалеров и дам устраивают балы, шумные гуляния и вечеринки... Понятное дело, таковая идиллия не может не возбудить гнев и зависть врага рода человеческого, и тот, воспылав по обыкновению сатанинской злобой, начинает плести дьявольские козни...

Константин Петрович поперхнулся куском бекона и закашлялся, деликатно прикрывая рот салфеткой:

– Кхах! Кххах!.. Умоляю, профессор! Неужто вы решили поквитаться со мной за недоброй памяти легенду о Безголовом Призраке? Будь она неладна! Намерены поподчевать меня ещё одной мистической историей?

– Ну что вы, на сей раз только факты и ничего, кроме фактов, – заверил приятеля Костромиров. – Никаких inferнальных изысков.

– Вот и славно. А то, признаюсь, я ещё не успел вполне переварить впечатления от наших кладбищенских приключений.

– Ага! А кто уверял, будто поучаствовать в чём-то подобном – чуть ли не заветная мечта всей его жизни? Майский, так сказать, день, именины сердца?

– Ах, Горислав Игоревич, только не подумайте, что я раскаиваюсь! Совсем нет. Но хорошенького понемногу. Оккультные явления в чрезмерных количествах – вещь для воображения крайне вредная и даже пагубная. Увы, превратившись в нечто обыденное, они теряют всякую привлекательность. Как говорил другой классик: даже самая приятная пища, принятая сверх необходимости, производит в желудке боль, икоту и чревоущание.

– Не могу с вами не согласиться. Мне продолжать?

– Без сомнения. Но не забывайте и о земной пище, не то остатки вашего чудесного рагу остынут и превратятся во что-нибудь столь же неудобоваримое.

Горислав Игоревич кивнул и спустя короткое время продолжил:

– Итак, Флоренция процветает... Ей нет нужды опасаться ни императора, ни папы, ни изгнанных из города граждан, и у неё хватает сил противостоять всем прочим итальянским государствам. Но беспечные флорентийцы не ведают, что первая в цепи роковых случайностей, тех самых, которые призваны разжечь в их родном городе пламя невиданной доселе смуты, уже произошла. Причём, произошла лет за восемьдесят с гаком до описываемых событий и совершенно в другом городе... В те далёкие времена чуть севернее Арно, в Пистойе, проживал некий мессер Канчельере, разбогатевший купец. У этого купца было несколько сыновей от двух разных жён. Все они, благодаря приличному наследству, выбились в кавалеры, тоже стали людьми достойными и зажиточными и, в свою очередь, наплодили многочисленных детей и внуков, так что в рассматриваемое время этот род,

насчитывая более ста мужчин, способных держать оружие, богатых и состоятельных, оказался не только крупнейшим в Пистойе, но и одним из самых влиятельных в Тоскане... И вот, от излишнего достатка и по наущению дьявола, между двумя ветвями сего рода – потомством от разных жён мессера Канчельере – вспыхнула вражда. Всё семейство разделилось на две непримиримые партии: «белых» (по имени первой жены родоначальника – Бьянки) и «чёрных», которые происходили от второй супруги и назвались так просто в противоположность первым. Подлинные причины внезапно возникшей ненависти достоверно не известны, но говорили, будто лошадь кого-то из чёрных Канчельери случайно покалечила копытами охотничьего пса, принадлежащего одному из белых Канчельери, оттого, дескать, всё и пошло. Ага... Прискорбный сей случай привёл к многочисленным столкновениям между белыми и чёрными, однако не настолько существенным, чтобы дело дошло до применения оружия; и, может быть, взаимная враждебность эта и не возымела бы никаких печальных последствий и в конце концов утасла сама собой, если бы её не усилили новые обстоятельства... Нет, Константин Петрович, как хотите, а придётся нам с вами заказать ещё напитков. «Гиннес» мой весь вышел, а в горле совсем пересохло. Тушёная грудинка с оладьями в рот не лезут. Так что продолжать рассказ без умягчения голосовых связок чем-нибудь эдаким просто немыслимо... Гулять, так гулять...

Сказав это, Горислав Игоревич отыскал взглядом кельнера и подозвал к столику.

– Что у вас имеется из напитков, милейший?

– О, сэр! – официант расплылся в дежурной улыбке. – У нас есть кофе по-ирландски, капучино, к нему – замечательный кофейный пудинг, пять сортов чая...

– Отлично. Принесите нам пару бутылочек «Кьянти Классико», выдержанного.

– Сию минуту, сэр, – улыбка официанта стала заметно теплее. – Чего-нибудь ещё? Быть может, что-то из закусок?

Горислав Игоревич вопросительно посмотрел на Сопоткина, тот отрицательно покачал головой, и официант удалился.

– Так, так!.. На чём бишь я закончил? – Горислав Игоревич видимым образом оживился и продолжил рассказ в гораздо более быстром темпе, иногда сбиваясь на скороговорку: – Ага! Вот я и говорю, принесла как-то нелёгкая Лоре, сына мессера Гульельмо, и Джери, сына мессера Бертакки (и тот и другой были членами семейства Канчельери, но первый – из чёрных, а второй – из белых), в один и тот же трактир, и угораздило их затеять игру в кости. За игрой они из-за чего-то повздорили, сеньор Лоре выхватил кинжал, да и отчекрыжил мочку уха сеньору Джери. Хотя рана была пустяшной и само происшествие не стоило выеденного яйца, однако мессер Гульельмо огорчился и, надеясь дружелюбием поправить дело, лишь ухудшил его, когда наказал сыну пойти к отцу раненого и просить у того прощения. Лоре повиновался отцу, однако сей гуманный поступок возымел обратное действие: жестокосердный мессер Бертакки велел слугам схватить Лоре и отрубить ему кисть правой руки, для большего же поношения сделать это на свином корыте. При этом он сказал: «Возвращайся к отцу и скажи ему, что раны лечатся железом, а не болтовнёй!» Само собой, таковая ничем не оправданная свирепость возмутила мессера Гульельмо,

и он приказал всем своим взяться за оружие для отмщения за неё, а мессер Бертакки, в свою очередь, вооружился для самозащиты. Так и начался раздор не только в этом почтенном семействе, но и во всей Пистойе. Что ни день, между белыми и чёрными стали происходить кровопролитные схватки, было немало побитых насмерть людей и разрушенных домов. Замириться они никак не могли, хотя и изнемогали в этой борьбе... Из опасений, как бы беспорядки в подвластной им Пистойе не привели к общему восстанию против правившей тогда партии гвельфов, флорентийцы вмешались, взяли на себя управление городом, а оба клана Канчельери скопом переселили во Флоренцию, в надежде держать их под контролем и тем, в конце концов, достичь примирения. В результате, правда, вышло, что не флорентийцы примирили между собой Канчельери, но те раздробили и рассорили промеж собой и без того отравленных духом партий флорентийцев, отчего напасты стали расти день ото дня...

Официант принёс вино, откупорил бутылку и налил несколько рубиновых капель в бокал Горислава Игоревича; тот с видом знатока поболтал его, понюхал, наконец, попробовал густой благоуханный нектар и удовлетворённо кивнул. Официант наполнил бокалы и вновь удалился.

Чокнувшись с Сопоткиным и медленно осушив бокал, Горислав Игоревич продолжил, но теперь уже более размеренным и неспешным тоном:

– Надобно заметить, что ко времени переселения пистойцев (а именно этот период нас с вами интересует), во Флоренции тоже имеются два могущественных, соперничающих промеж собой семейства – Черки и Донати... Во главе дома Черки стоит мессер Вьери де Черки, а род Донати возглавляет мессер Корсо Донати. Оба этих клана равно схожи благородством происхождения, богатством, знатностью и многочисленностью зависящего от них люда. И оба принадлежат к партии гвельфов. Различие между ними только в одном: если первые отличаются грубостью и неуживчивостью, то последние всегда готовы склониться к ссоре и зависти... И вот белые Канчельери селятся в домах Черки, будучи с ними в родстве, а чёрные – за Арно, в жилищах и замках Донати, с которыми также находятся в каком-то отдалённом свойстве... С сего момента и начинается закат «золотого века» Флоренции: как одна паршивая овца портит всё стадо, так и проклятые семена раздора, занесённые из Пистойи и упавшие на благодатную почву старинной вражды Черки и Донати, распространяются по всему городу и окрестностям, позднее захватывая всю Тоскану, а за ней – всю Италию... Сперва большинство домов и семейств нобилей распадаются на сторонников чёрных и белых, Донати и Черки, вслед за ними и пополаны делятся на ярых сторонников одной или другой партии; при этом к партии белых, возглавляемой ныне мессером Вьери де Черки, примыкают и остатки находящихся во Флоренции гибеллинов, что, само собой, заставляет пламя вражды разгореться ещё пуще... Приоры и другие благонамеренные граждане начинают опасаться, как бы дело не дошло в любой момент до вооружённого столкновения, и не напрасно, ибо враждебные чувства продолжают набухать и теперь достаточно ничтожной капли, чтобы переполнить чашу. Что, собственно, и случается под вечер майского праздника 1300 года... Представьте себе конец чудесного весеннего дня, знатная молодёжь обеих партий прогуливается верхом по городу, любуясь общественными увеселениями; несколько юношей из семейства Донати со своими друзьями проезжают поблизости от площади Санта Тринити и останавливаются поглазеть

на танцующих женщин; туда же приближаются верхами человек тридцать из клана Черки. Не зная, что впереди молодёжь Донати и тоже желая посмотреть на танцы, они на своих конях пытаются прорваться в первые ряды и бесцеремонно теснят всадников Донати. Те, сочтя себя оскорблёнными, обнажают мечи и завязывается натуральное сражение. И, хотя на первый раз обходится без смертоубийств, – стороны разъезжаются, обменявшись серией ударов и получив несколько ран, – но у некоего мессера Рикovere де Черки оказывается напрочь отрублен нос, что и приводит к необратимым последствиям: сразу после роковой стычки весь город вооружается, и во Флоренции вспыхивает жесточайшая смута, а в рядах гвельфской партии начинается полнейший разброд...

– Горислав Игоревич! – прервал рассказчика Сопоткин. – Должен предупредить, что если вы и дальше намерены множить количество персонажей с прежней устрашающей скоростью, я совсем запутаюсь. И ваш труд пропадёт втуне. Даже сейчас мне чрезвычайно сложно уследить за всеми этими Канчельери, Черки и Донати...

– Хорошо, – Костромиров милостиво кивнул, наполняя бокалы себе и собеседнику, – так и быть, я не стану в подробностях описывать все перипетии дальнейшей борьбы белых и чёрных. Воспользуюсь бритвой Оккама и постараюсь не плодить сущности сверх необходимого. Тем паче, память у меня уже не та, и я сам боюсь напутать с именами... Короче, буду краток. Так слушайте дальше...

– Ага, – продолжил Горислав Игоревич, – словом, как я уже сказал, во Флоренции кипение партийных страстей и столкновение противоборствующих интересов вылилось, наконец, в открытую войну между чёрными и белыми гвельфами и примкнувшими к последним гибеллинами. Кровавые стычки становятся постоянными. Удача клонится то на одну, то на другую сторону: иногда победу празднуют приверженцы Донати, порой чаша весов опускается в пользу Черки... Капитаны гвельфской партии то и дело взывают к папе Бенедикту VIII, тот дважды, а то и трижды шлёт во Флоренцию своего легата, дабы помочь в урегулировании конфликта, но всё без толку: каждый раз латеранский легат – кардинал-португалец Маттео д'Акваспарта – вынужден удалиться с великим неудовольствием, призывая в гнев «чуму на оба этих дома» и наложив на город интердикт от имени римского первосвященника... Наконец, после очередной, очень уж ожесточённой стычки, Синьория по мудрому совету одного из приоров – мессера Данте Алигьери – решается изгнать главарей обеих партий. Но поскольку сам мудрый советчик принадлежит к партии белых, то реальному изгнанию подвергается лишь мессер Корсо Донати со товарищи, удалённые же из города белые вскоре возвращаются под теми или иными благовидными предлогами. Раздражённый таковой явной несправедливостью, мессер Корсо и его сторонники отправляются в Рим и убеждают папу послать в качестве посредника во Флоренцию Карла, графа Валуа, брата французского короля Филиппа Красивого, который (граф, а не король – излишнее примечание, если вы не пурист) аккуратно в это самое время случайно проезжает мимо, воевать Сицилию... Тот охотно соглашается взять на себя миссию благодетеля Тосканы, тем паче, что выступать в поход против владеющего спорным островом какого-то – убей Бог, если помню, какого! – представителя Арагонской династии намерен лишь будущей весной и, собственно, сам пребывает в недоумении, зачем именно сейчас припёрся в Италию... В свою очередь,

папа Бонифаций назначает Валуа генерал-капитаном церковного государства, а также князем-мироотворцем в Тоскане. И вот, в день Всех Святых (обратите внимание на эту сакраментальную дату!) Карл Валуа в сопровождении баронов и пяти сотен французских рыцарей вступает во Флоренцию; покуда он в кафедральном соборе Санта Мария дель Фьоре (в присутствии подеста, приоров, членов всех советов, епископа и вообще всех добрых граждан Флоренции) клянётся восстановить мир и благосостояние города, мессер Корсо Донати, с ведома коварного графа и в сопровождении вооружённых приспешников, проникает в город, освобождает заключённых из тюрем и захватывает Синьорию... Как водится, подворья, лавки, дома и дворцы белых подвергаются нещадному разграблению, а многие из приверженцев мессера Вьери де Черки расстаются с жизнью. Ага... Но мы с вами договорились не вдаваться в излишние детали... Хорошо, скажу только, что, хотя партия чёрных во главе с Корсо Донати захватила власть в городе, однако окончательное изгнание белых происходит лишь спустя несколько месяцев. И тоже благодаря чистой случайности... Так вышло, что однажды вечером, когда Карл Французский что-то такое праздновал во дворце приоров, один из его баронов, некий корыстолюбивый проныра и интриган из Лангедока, хватил лишку и задремал за столом у своего сеньора; и вот у спящего из-за пазухи нечаянно вываливается пакет с целой кипой документов... Графа, понятное дело, разбирает любопытство, он тут же, между переменной блюд, знакомится с этими бумагами и с возмущением узнаёт, что буквально у него под носом, среди собственной его свиты созрел преступный заговор, имеющий целью изгнание его и семейства Донати из города. Особых сомнений в готовящемся мятеже не возникает, ибо письма, акты и договоры не только скреплены очень похожими на настоящие подписями и печатями соучастников (большинством Черки и изменником-лангедокцем), но и предусмотрительно заверены у нотариуса. Дабы уничтожить крамолу в зародыше, граф немедля даёт распоряжение объявить всех белых – как пополанов, так и нобилей, – вне закона, имущество конфисковать, дома разрушить, а самих приговорить к изгнанию... Среди других, ровно таким же репрессиям подвергается и Данте: его, будто второго Демосфена, обвиняют во взяточничестве, подкупе и приговаривают ко временному изгнанию и крупному штрафу. Поскольку же поэт находится в это время в Риме, при папском дворе (отстаивая интересы клики белых гвельфов), и не успевает обжаловать решение, судьи постановляют изгнать его навеки, а в случае появления во Флоренции — сжечь на костре...

– Послушайте, – вновь прервал рассказчика Константин Петрович, – я твёрдо помню... Точнее говоря, мне кажется, большинство историков склоняются к мысли, что Данте был гибеллином, а вовсе не гвельфом, пускай и белым...

– Ерунда, – пренебрежительно отмахнулся Костромиров. – Впрочем, гвельфом или гибеллином, какая разница? Все тогдашние группировки объединялись уже не на почве политики, но на основе прибежности к тому или иному клану... И вообще, я отнюдь не затем поведал вам эту длинную историю не для того, чтобы спорить о партийной принадлежности великого поэта.

– Да, да, я помню: чтобы примером доказать вашу странную теорию...

– Да не теорию! – Костромиров протестующе повысил голос. – Со всем не теорию! Я уже сказал, что не претендую ни на что подобное. Боже упаси! Если угодно, можете называть это чем-то вроде рабочей гипотезы, но не более того... Полагаю, историку вполне позволительно и даже иногда

уместно оперировать гипотезами. Но при условии, что он ни в коем случае не стремится выдать их за априорные истины. Сейчас я именно делюсь мыслями, которые, конечно же, не склонен догматизировать. Напротив, я готов обсуждать любые другие точки зрения...

– Тогда я не совсем понял смысл приведённого вами примера.

– А между тем, он весьма прост. Судите сами: общеизвестно, что именно изгнание предопределило величие Данте как поэта. Практически все исследователи его творчества сходятся в мысли, что, не будь оно, и грандиозное здание «Божественной Комедии» никогда не было бы воздвигнуто... Вероятнее всего, он так и остался бы для потомков автором «Новой Жизни», серии лирических стихотворений, а равно некоторых столь же любопытных, сколь и прочно позабытых ныне латинских трактатов. Но гений его никогда не отлился бы в те воистину титанические формы, какие он принял после Рокового Удара Судьбы, который, кстати, очень удачно настиг его как раз в самом расцвете сил... Помните, «*nel mezzo del cammin di nostra vita*», ну и т.д. Проживи он спокойно и безмятежно отпущенные ему годы в родной Флоренции, разве сумел бы он дать бессмертное выражение собственным страданиям и душившему его гневу? Из мелких бурь, тревоживших крошечную итальянскую республику, создать величайшее поэтическое творение христианского средневековья?..

– Да уж! – усмехнулся Константин Петрович. – Что говорить, постарался на славу: всех личных недругов и политических противников запихнул в свой страхолюдный поэтический ад, обрёл на вечные муки.

– Довольно изящная месть, согласитесь. И муки тоже, между прочим, в достаточной степени изошрённые. Кстати, нельзя отрицать, что не только демография «отверженных селений», но и персональный состав обитателей Рая у нашего «*altissimo poeta*» весьма разношёрстен. В выборе блаженных он столь же пристрастен, как и в выборе проклятых: чего стоит хотя бы тот же бывший трубадур Фолькет. Вознести подобного монстра на «Небо любви»! Ха! Это его-то, кровавого епископа Тулузского!.. Однако я опять не к тому... Дело вот в чём: ведь, коли следовать строгой логике, то изгнание Данте, а значит (как мы только что выяснили) и появление на свет «Божественной Комедии» предопределила та самая цепочка дурацких случайностей, длинная вереница событий – результатов вполне стихийного столкновения и скрещения людских страстей, которую я перед вами развернул... Выходит, не покалечь кобыла в неведомо каком затёртом году борзого пса, не повздорь два вертопраха за игрой в кости, не остервенись родитель одного из них, не лишишь носа Рикovere де Черки (который, кстати, ничего, кроме этого носа, в истории по себе и не оставил), ну и так далее... так ни черта бы и не было. Получается, всю эту лавинообразную серию каузально (по крайней мере, на первый взгляд) обусловленных событий запустила лошадь? А может, охотничий пёс? Следовательно, дантов шедевр, его РОЕМА SACRA обязана своим существованием паре бессловесных животных, которых при всём желании трудновато заподозрить в умении слагать стихи, да к тому же ещё и «новым сладостным стилем». Вот ведь оно как.

– Ну, это уж вы снова утрируете! – негодуяще вскричал Константин Петрович.

– Разве? Но, как вы понимаете, я изложил вам одни только голые факты. И, заметьте, ни единый из этих случайных фактов сам по себе не



противоречит ни законам природы, ни обычкновениям человеческого общежития. Каждый из них вроде бы является вполне логичным следствием предшествующего и, в свою очередь, влечёт за собой последующие. Но! Разве хоть какое-то из названных событий, а тем паче, всю их последовательность, можно с полным основанием назвать чем-то закономерным? Вытекающим из неких общих принципов, дефиниций или алгоритмов истории? Или наоборот: возможно ли из совокупности ряда факторов, определяющих те или иные исторические события и изменения, выделить главный, основополагающий, тот самый, что якобы и должен способствовать выявлению неких объективных исторических законов? Нет и ещё раз нет. В лучшем случае, их возможно классифицировать, как частное сочетание естественных инстинктов, страстей и непредсказуемых флуктуаций, смесь относительного порядка и абсолютного хаоса.

– Вам не кажется, что вы впадаете в тот же грех, в котором недавно сами обвиняли едва не всех подряд историков? Не вливаете ли вы старое вино в новые мехи? Не подгоняете ли факты под собственную концепцию «спонтанной истории»?

– Ага! Вы заметили, – довольно произнёс Костромиров.

– Не то чтобы я что-то заметил, – ответил Сопоткин, – в вашем изложении всё действительно выглядит очень убедительно и логично. Но смутные подозрения меня всё же посетили...

– Вот видите, друг мой, я же предупреждал вас: не верьте никаким так называемым «теориям», даже самым привлекательным.

– Ну уж в привлекательности ваши идеи обвинить никак нельзя!

– Неважно. Я и правда изложил вам только факты. Однако при этом некоторые незначительные детали незаслуженно выпятил, а другие, напротив, опустил или сгладил. И вот результат – вы уже почти готовы поверить в абсолютную истинность моих рассуждений... Увы, Мир как «огромная вечная загадка» не совпадает ни с какими, даже самыми стройными, логическими конструкциями. Зачастую не совпадает он и с нашими непосредственными ощущениями. Он противостоит им, как независимая и вовсе не склонная к гармонии реальность. Многие из моих коллег вообще убеждены, что единственную и окончательную историческую реконструкцию создать в принципе невозможно. Самое большее, чего удаётся достичь, – это предложить несколько наиболее правдоподобных гипотез, которые не способны истребить друг друга научными средствами... Поэтому я и говорю: отбросьте всякие попытки глобального осмысления исторического процесса. Ибо человечество в такой же степени способно постигнуть законы своего собственного развития, в какой обитателям муравейника очевидны гармония и строгий порядок их суетливого существования.

– Но это же абсолютно бессмысленно! – воскликнул Константин Петрович.

– Именно, – Костромиров кивнул с явным удовлетворением. – О чём я вам и толкую.

Беседа третья

Подробно разъясняющая, отчего идеалисты – добродетельны, а материалисты – безнравственны

*Иду, покорный и унылый,
Четвероногим двойником:
И – звезденеет дух двухкрылый;
И – леденеет косный ком...*

А. Белый

– Не понимаю... – Константин Петрович пожал плечами и бросил на собеседника скептический взгляд сквозь на треть наполненный вином бокал. – В чём же, тогда, высший метафизический смысл истории человечества?

– Смысл? Какой ещё смысл? Если всё рассматривать с точки зрения смысла, так наша жизнь, в конце концов, сведётся лишь к одному: к полезному удобрению почвы, да насыщению атмосферы углекислым газом. Всякие поиски глубинного метафизического смысла, всякий универсализм в исторической науке пагубны.

– Так-таки сразу и пагубны?

– Ну, может быть, и не пагубны, – вздохнул Костромиров, – но бесплодны уж точно. И всегда до безобразия тривиальны.

– Мне кажется, вы и сами высказываете сейчас отнюдь не непреложные истины, но лишённые всякой ценности трюизмы.

– Трюизмы – безусловно. Но истины не становятся ложными или лишёнными ценности оттого только, что банальны. Истина всегда банальна, а непреложная истина, ко всему прочему, банальный плеоназм.

– Или я начинаю путаться в ваших псевдопарадоксах, или вы намеренно противоречите сами себе, – недовольно заявил Константин Петрович. – Однако вы упомянули, что бытие человеческого общества не склонно к поступательному развитию. Что же, в таком случае, остаётся? Цикличность? Спиральная повторяемость истории? Или хаотичное броуновское кипение? Простое скопище дискретных событий?

– Вы опять пытаетесь перво-наперво набросить на Историю узду хоть какой-нибудь концепции... Это путь в никуда, дорога напрямик в гнилые болота философских туманов и заблуждений. Там вас ждут лишь мерцающие огоньки обманчивых смыслов, которые завлекут в трясиину абстракций, да ядовитые испарения безответственных фантазий, что вызывают мистические грёзы. Нужно изучать события, подвергать их всестороннему анализу, а уж после (коли очень хочется) синтезировать некие теории. Никак не наоборот. Правда, это никоим образом не отменяет того факта, что и в последнем случае ваши теории, скорее всего, окажутся ошибочными.

– А вы опять уходите от ответа.

– Нисколько. Дело в том, что, задавая подобные вопросы, то есть вопросы о смысле и цели исторического процесса, а значит и о цели и смысле жизни вообще, вы невольно и априорно предполагаете, что в Природе есть какая-то цель и какой-то смысл. Но ведь об этом мы с вами давеча говорили.

– Как же, помню, – хмуро заметил Константин Петрович. – Вы утверждали, что ни цели, ни смысла в жизни нет и быть не может... Знаете, я много

думал после этого нашего первого разговора и пришёл к выводу, что ваше заявление, по существу, столь же голословно, как и обратное. Ведь его так же невозможно доказать.

– Отчего же? Подумайте сами: коли мы спрашиваем себя, какова цель нашей жизни, так должны, прежде всего, предположить, что любая жизнь имеет некую определённую цель. Так? Но всякая жизнь есть лишь единичное проявление общей жизни Природы, жизни нашей планеты, планетарной системы, галактики, да и Универсума в целом... А если это так, то мы уже обязаны допустить, что и общая жизнь Природы и Универсума имеет определённую цель. Последнее же допущение, в свою очередь, немисливо без признания реальности сознательного, направляющего и руководящего Властелина Вселенной. Как его ни обзывай – Мировым Духом, Вседержителем, Демиургом, Перводвигателем, Верховным Зодчим, Иалдаваофом или Господом Богом. Впрочем, нечто подобное, кажется, уже говорил нелюбимый мною Нордау... Ага. Тем не менее, человек, верующий в Бога, тотчас же утрачивает всякое право спрашивать себя о цели собственного существования, о цели и смысле существования всего человечества. Ибо этот вопрос является дерзким притязанием, попыткой ничтожной твари выведать планы своего Творца, шулерским образом заглянуть ему в карты, возвыситься до всеведения! К тому же такой вопрос ещё и абсолютно празден, ибо религия уже ответила на него исчерпывающим образом: цель жизни человека в том, чтобы любить, бояться и славить Господа; всё прочее – от лукавого... С другой стороны, неверующий также не должен задаваться вопросами о смысле и цели бытия. Так как оба этих синонимических понятия могут существовать (с точки зрения материалистического ума) лишь в человеческом сознании и не находят себе, ввиду отсутствия Мирового Сознания, места в Природе. Коль скоро не существует трансцендентного разума, то и Природа знает лишь причинность, а не цель. Но если смысла и цели нет в Природе, то не может её быть и в любом отдельном её представителе. Откуда же им, в таком разе, в самом деле взяться?.. Другими словами, уж коли нам так охота задавать всякие риторические вопросы, то мы должны спрашивать себя не «зачем мы живём?», но «почему мы живём?» А на последний вопрос исчерпывающий ответ даёт уже не религия, но наука и особенности взаимоотношения полов...

– А если мне не близка ни та, ни другая крайность? – прервал тираду профессора Константин Петрович. – Коль скоро я не могу отнести себя ни к ортодоксально верующим, ни к числу убеждённых адептов позитивного материализма? Ведь только для таковых и хороши подобные объяснения.

– Ах да, я и позабыл о вашей склонности к идеализму трансцендентального толка, – с благожелательной улыбкой воскликнул Костромиров. – Вы же давеча мне говорили... Впрочем, вам, как художнику слова, то есть натуре поэтической и увлекающейся, это даже идёт.

– Благодарю за комплимент, – отозвался Сопоткин, – если, конечно, это комплимент. Но мне действительно ближе христианизированный пантеизм ранних немецких мистиков. Или тот же Шеллинг, например. Кстати, в отличие от вас, историка, он как раз видел в развитии человеческого общества (как и в целом Вселенной) вполне ясную цель.

– И что же это за цель? – поинтересовался Костромиров с лукавой усмешкой.

– А вы будто не помните!

– Может, и помню, но хотелось бы услышать вашу интерпретацию.

Константин Петрович пожал плечами, отважно отщипнул кусочек совершенно несъедобного на вид голубого сыра, запил глотком вина и на минуту задумался; наконец, морщины на его челе разгладились.

– Цель истории, по Шеллингу, движение к Абсолюту, а точнее, воссоединение с ним, – сказал он.

– Ага. Вот именно! – Костромиров торжествующе и с угрозой воздел к небу (вернее, к потолку) вилку с последним ломтиком маринованной свинины. – А что есть оный Абсолют? Когда не ошибаюсь, так ваш Шеллинг именует Творца или Родителя Вселенной. Верно ведь? Но воссоединение с Богом – это, собственно, конец земного существования, смерть, проще говоря. Что же получается? Цель человечества, его истории, Универсума вообще – самоуничтожение? Хороша цель! Прямо буддизм какой-то... Не о том ли я вам толковал десять минут назад? Нет, увольте, не вижу я никакого высшего метафизического смысла в слиянии с шеллингианским Абсолютом... И потом, – тут тон профессора обрёл вполне материальную весомость, – если верить любезному вам Шеллингу и его последователям, то порождение Абсолютом всего сущего никоим образом не может быть объяснено и понято из законов разума и природы. Дескать, образование Вселенной, само начало Мира, Истории и т.п. – совершенно иррациональная и даже греховная, а потому весьма прискорбная случайность. Ибо является актом отделения от универсального, божественного начала. Отсюда, мол, и неутомимое стремление к возврату прежней цельности, к воссоединению с Абсолютом. Но раз само возникновение Мироздания есть акт случайный, то какой же должна быть его история?.. Короче говоря, и возвращаясь к первоначальной теме нашего разговора, с какого боку ни подходи к поднятой вами проблеме, к каким авторитетам ни обращайся, ответ останется неизменен: единственным «движителем» истории является Случай. Совсем не человеческое произволение. И уж конечно отнюдь не Вселенский Разум или Божественный Логос. Человечество никогда не представляло, – не представляет и сейчас – куда оно идёт. Приписывать ему какую-то цель – значит создавать обманчивые миражи и плодить безответственные утопии.

– Ну что ж, вот и выходит, что из всех подобных «истин» беспросветно-махрового позитивизма напрашивается один-единственный вывод! – с воодушевлением воскликнул Сопоткин и от волнения даже привстал с места. – И вывод этот сформулирован как раз религиозными мыслителями: непременным условием достижения смысла жизни является вера человека в существование Бога как абсолютного Блага, вечной Жизни и вечного света Истины. То есть тех обязательных (пускай и абстрактных!) категорий, которые только и позволяют ему приобщиться к подлинной, божественной жизни, на ней утвердить, ею освятить собственное бренное существование и таким образом наполнить его смыслом, самому обрести подобие и отсвет божественности!

– Эх вас разобрало, – удивился Костромиров. – Между прочим, если вы сядете, вам будет гораздо удобнее говорить... Однако следует ли понимать так, что саму по себе бессмысленную бесцельность Мироздания, человеческой истории и жизни каждого индивида в отдельности вы не отрицаете? Ну, то есть, в принципе?

– Вообще нет, – поспешил заверить историка Константин Петрович. – Но смею напомнить, что многие христианские мистики даже из такого откровенно пессимистичного постулата находили, по крайней мере, два выхода...

– И какие же?

– Во-первых, мир немедленно обретает смысл и цель, если предположить, что всё сущее и есть Бог...

– Но это опять же чистой воды пантеизм, – нетерпеливо возразил Костромиров. – А ведь как раз с христианских позиций он и не выдерживает никакой критики: в подлунном мире безраздельно царит энтропия, он подчинён всеуничтожающему потоку времени... Как бы мы ни восхищались грандиозной сложностью Мироздания, как бы ни трепетали перед безмерностью его глубин, но уже одно безусловное господство в нём страданий, зла и объёмлющей всё и всех тленности свидетельствует о его *безличной* жестокости... Какой уж тут, в самом деле, Бог? Какой всемогущий и всеблагодатный Творец? С точки зрения христианства, словоупотребления *Deus est omnia*, равно как и *Deus est natura* – суть внешние, пустые привески к атеистическому мировоззрению, не более.

– Предположим, – не стал спорить Сопоткин. – Но есть и второй выход. У одного из видных православных философов я обнаружил следующую поразившую меня мысль... Без сомнения, мир наш – лишь ничтожный комочек мировой грязи, летящий и кружащийся в затерянном уголке бездушного бесконечного пространства; с этой точки зрения он, безусловно, лишён всякого смысла. Отчего же тогда мы никак не желаем удовлетвориться простой констатацией сего факта? Констатацией всеобщей бессмысленности жизни? Осознавая её разумом, не принимаем душой? Ответ прост и содержится в самом вопросе: как раз потому, что понимаем и разумно утверждаем эту бессмысленность. И действительно: раз мы в состоянии её понять, значит не всё на свете и не всецело бессмысленно. Есть, по крайней мере, осмысленное познание – а именно познание той самой бессмысленности мирового бытия... Когда бы мир и жизнь являли собой сплошной хаос слепой материи, откуда бы взялись существа, осознающие это и высказывающие? Таким образом, утверждение абсолютной и всеобщей бессмысленности Бытия само бессмысленно, ибо противоречиво – будучи актом разумного познания, оно опровергает собственное содержание.

– Не находите, что это лишь пустой и довольно жалкий софизм? – поинтересовался Костромиров

– Не спешите с выводами, – спокойно ответил Сопоткин, – я ещё далеко не закончил. Так вот... Итак, нельзя ли заключить, что устройство Мироздания, хотя и является слепым в своём бытии и развитии, вместе с тем, из-за наличия внутри него слабого человеческого разума, парадоксальным образом таковым не является? Ибо пронизано лучом света, озарено знанием самого себя? И что как раз в лице сего знания мы уже явно не принадлежим *к этому миру* и не подчинены его бессмысленным силам? Разве в душе любой из нас не жаждет совершенства?

– Да что же удивительного в том, что при очевидной чудовищной дисгармонии окружающего нас Хаоса, мы, люди, одарены вдобавок печальным свойством стремиться к невозможному? Бесплодно томиться по какому-то смутному и призрачному, но идеальному миру? – не сдержался Костромиров. – Ведь это именно и следует расценить как лишнее свидетельство

слепой стихийности жизни. Как очередное досадное недоразумение, на-смешку природы!

– Но можно расценить и ровно обратным образом! – возразил Сопоткин, тоже с горячностью. – Если вдуматься в этот заложенный от рождения в нашей груди мечтательный образ иного, совершенного миропорядка, коли пристальнее взглянуть в него, так невольно возникает вопрос: а не является ли как раз он тем самым *настоящим, подлинным* миром? И не есть ли, в таком случае, окружающая нас эмпирическая действительность всего лишь декорация? Иллюзия? И даже, пусть не иллюзия, пускай мы, и правда, бес-сильные пленники этого вещного и тварного мира, а наш внутренний духов-ный бунт против его преходящей убогости – обречённая на провал затея... Пускай! Но всё же никто не в силах отнять у нас смутного воспоминания о той другой, подлинной нашей родине...

Костромиров возмущённо всплеснул руками и в сокрушении покачал головой, – здравый смысл его явно был оскорблён, а логика – грубо уязвле-на последним высказыванием приятеля.

– Короче говоря, вы предлагаете удовлетвориться воображаемым Богом и воображаемой «истинной жизнью»? Это уж, право слово, епископ Беркли какой-то! Этак вы скоро докатитесь до солипсизма, приметесь отрицать существование материи, станете утверждать, будто, кроме духов, всё окру-жающее – не более, чем наши собственные субъективные представления, они, дескать, существуют, лишь будучи воспринимаемыми... Между про-чим, не пренебрегайте «Кьяньти», я заметил, вы пьёте только второй бокал. А вино отменное. Вероятно, походит по вкусу на знаменитую ирландскую настойку, ради которой преосвященный Беркли как раз и забросил напро-чь свои учёные занятия... Те самые, что привели его к упомянутым выводам. Говорят, ещё и заявил при этом, что продукция местных винокуров веселит душу почище всякой философии...

Константин Петрович последовал совету Костромирова и отдал долж-ное виноградному напитку, затем продолжил с прежним, если не большим, воодушевлением:

– Но разве вы станете отрицать, что, может быть, изредка, в совершенно исключительные моменты частных раздумий, даже и вы сами оказыва-лись способны не только *мечтать* о вечности или о полноте удовлетворён-ности, но на краткое мгновение и *испытывать* их?! Уверен, что, несмотря на весь скептицизм, и вам не раз открывалась истина: ваше собственное ис-кание смысла жизни – при всей его кажущейся неосуществимости – само есть проявление в вашей душе реальности искомого! Да, да! Стоит только отвыкнуть от негодной привычки считать единственной реальностью окру-жающее нас извне, стоит только обратить должное внимание на реальность собственного внутреннего мира, как приходит великое понимание того, что *не всё* бессмысленно, что в самом нашем искании, в самой неудовлетворён-ности ничтожеством жизни обнаруживается присутствие и даже действие начал, противоположных её ничтожеству и её бессмысленности. Искание Бога и Вечности уже есть действие Бога и наличие Вечности в душе чело-веков!

– Ага, иными словами, тезис ваш таков: жизнь бессмысленна, но изна-чально бесплодный поиск в ней *высшего* смысла как раз и придаёт ей *ре-альный* смысл. Так?.. Увольте, это не для меня. Не то же ли это самое, что пытаться утолить жажду, любуясь этикетками бутылок? – Костромиров

щёлкнул ногтем по наполовину опорожненной ёмкости с благородным напитком. – Больше всего на свете я ненавижу ничем не оправданный оптимизм, утешительные надежды и самообман любого вида. В лицо реальности надлежит смотреть, не принимая желаемого за действительное. В противном случае мы рискуем уподобиться каким-нибудь древним египтянам... Если помните, у тех чрезмерная любовь к жизни трансформировалась в столь неуёмную заботливость о посмертном существовании, в такую жажду продолжения материального бытия даже и за гробом, что и весь смысл пребывания их на этом свете свёлся, в конце концов, к непрерывной подготовке к тому, чтобы не умереть, несмотря на смерть... Страх же перед бессмысленностью бытия как раз сродни страху смерти, о котором мы с вами давеча уже толковали... Между прочим, ваши потуги обосновать необходимость и сугубую полезительность веры напомнили мне одну поучительную историю с Эдвином, королём Нортумбрии...

– И что же это за история? – спросил Константин Петрович, невольно усаживаясь поудобнее. – Не расскажете?

– С любовью и охотой, о великодушный Шахрияр, – усмехнулся Костромиров. – Только вот покончу с оладьями и раскурю трубку... Итак, средневековые хронисты свидетельствуют, будто этот строптивый англ Эдвин, будучи истинным представителем своего «варварского, свирепого и недоверчивого народа», всё никак не мог решиться воспринять Слово Божие, отринуть поганое язычество и обратиться в христианство. Уж его специально присланный из Рима епископ Паулин уговаривал, сам *servus servorum Dei* Бонифаций Пятый одно за другим увещательные послания строчил, даже парочку чудес нарочно для сего Фомы Неверного организовали, а он всё ни в какую, мнётся да кочевряжится... Наконец, постановили созвать Большой Совет из знати, подручных вождей и дружины, да и рассмотреть означенное дело окончательно и бесповоротно. Ага... После того, как преподобный Паулин по обычаю в очередной раз привёл доводы в пользу учения Христа и, соответственно, против мерзостного идолопоклонства, выяснилось, что большинство танов, гезитов и элдорменов и без того давно склоняются принять новую веру, ибо не видят в старой ни достоинства, ни пользы. Но Эдвин и тут не оставил своих колебаний. Жалко ему было, видите ли, предавать пагубные заблуждения отцов и дедов... Тогда поднялся некий *optimatus*, знатный муж или эрл, и сказал следующие замечательные слова: «Быть может, ты припомнишь, о король, что случается иногда в зимнюю пору, когда ты сидишь за столом с дружиною; посреди зала в очаге пылает огонь, согревая тебя, а снаружи на дворе бушует зимний ветер, льёт дождь, кружит снег, и воеет вьюга. И вот иной раз в такое время быстро пронесётся через зал мелкая пичуга, ничтожная птаха, влетит в одну дверь и вылетит в другую. В тот краткий миг, что она внутри, зимняя стужа не властна над ней, и оттого мгновение это приятно для пернатой твари; но – увы и ах! – сколь быстро пронеслось оно! Не успеешь задуматься и глазом моргнуть, как несчастная птаха уже исчезла с очей твоих, уносясь из стужи в стужу!.. Такова и жизнь людская на земле и её стремительное течение, когда сравнить его с бесконечностью, которая предшествует и последует. И неведомо нам, что будет и что было прежде. А ведь то и жутко, что невозможно познать. Не есть ли это самое мучительное? Коль скоро же новое учение обещает нам дать верное известие и положительное знание именно о сём предмете, как не принять оно?» Речь эта показалась настолько

убедительной, что даже сам верховный жрец Игга-Водана, Бога Воронов и Отца Павших, воспрял со своего возвышенного седалища и воскликнул с волнением: «О, король! Раз новая вера дарует мне спасение от смрада могилы, вечную жизнь в придачу с вечным блаженством, так она хороша! Всеконечно хороша!», тотчас вскочил на коня, вооружился и поскакал крушить подведомственные ему капища. Эдвин же, сын Эллы, исполнился наконец благодати Духа Святого, крестился и повелел поскорее осквернить все прочие языческие кумирни и священные рощи... Как видите, дорогой Константин Петрович, и у народов севера именно чаяние воскресения мёртвых и надежда на «жизни будущего века» питали рост симпатий к новой вере. Именно несбыточная мечта обрести таковым образом смысл жизни и, хотя бы частично, избавиться от страха смерти мощно содействовала распространению между ними христианства...

– А что случилось потом с этим вашим Эдвином, королём Нортумбрии? – прервал Костромирова Константин Петрович.

– О, с ним всё вышло вполне даже благополучно, – заверил приятеля Горислав Игоревич. – Буквально через пару лет после крещения он схлестнулся с валлийским королём Кадваллоном Ллаухиром и Пендой, могущественным владыкой Мерсии. Обычные территориальные разборки, распри из-за уделов и вотчин. Ага. И в год от воплощения Господа 633-й был вчистую разбит и сложил голову где-то в Йоркшире; вся армия его также оказалась порубана или рассеяна, погибли и оба сына его, внуки... короче, весь род вырезали... Нортумбрия же, обречённая «мечам и пожарам», вновь вверглась во тьму прежнего идолопоклонства и невежества. По крайней мере, на некоторое время. Но поскольку пасть королю-христианину Эдвину посчастливилось от рук короля-язычника, он был немедля объявлен мучеником веры, причислен к лику святых и, таковым образом, восхищен прямоком в Царствие Небесное. Как и мечтал. М-да... Только вот с головой его случилась какая-то неразбериха, путаница какая-то там произошла... В общем, пропала голова. Ну, прямо, как и в вашей легенде о Безголовом Призраке.

– О Безголовом Призраке... Святые угодники! Да неужели вы сами не видите... То, что вы рассказали, это всё, простите меня, история, «дела давно минувших дней»... Но неужто вы не видите, как именно сегодня, – сегодня! – в наше время, отказ от традиционных христианских ценностей толкает Европу в пропасть?! Не замечаете, как атеизм разъедает умы и души, деморализует народы посредством привнесения кощунственных сомнений в сферу сакрального? В сферу устоявшихся святынь? Как гнилые воды секулярного потопа поглощают или размывают последние опоры культурной идентичности Запада? Я сам, к примеру, демократ и, в некотором смысле, либерал, но и меня с души воротит наблюдать, как гибнет бывшая христианская цивилизация. Нешто вам это безразлично?

– Окститесь! Безразлично... Разумеется, не безразлично... Но причём тут, скажите на милость, отказ от христианских ценностей? И почему, именно христианских? Может быть, просто – от любых моральных устоев? Нынешнее состояние Европы, да и, вообще, Западного Мира, – это как раз результат гипертрофированного понимания и, если хотите, гипертрофированного развития институтов вашей разлюбленной демократии. Главное же – толерантности, этого донельзя уродливого порождения пресловутого либерального проекта. Как я уже говорил, неолиберализм сам стал для

Запада этакой глобальной псевдорелигией. Враждебной всем традиционным нормам морали и нравственности. Христианство тут вообще не при чём... В противном случае мы обязаны признать, что до Константина Великого, до Медиоланского эдикта 313 года европейцы жили звериным обычаем, не имели понятия о добре и зле, гнобили друг дружку почём зря и с упоением уничтожали разницу между полами. Обязаны признать, что Перикл, Эпикур и оба Плиния по определению хуже каких-нибудь Шпренгера с Инстититорисом. Ибо последние были без сомнения верующими христианами, а первые – погаными язычниками. Я уж молчу о разных там (*horribile dictu!*) материалистах вроде Гераклита, Ван Чуна и Лукреция Кара... Впрочем, Ван Чун я не к месту приплёл, ну да ладно...

– Многие убеждены, что как раз эти самые материалисты, а особенно «гуманисты» Нового времени и заложили традиции извращённого антропоцентризма. Насадил пагубную уверенность во всеилии человеческого Разума! Повадились подвергать уничтожительной профанной критике то, что критике изначально не подлежит – возвышенный объект веры! А есть ли вернее способ разрушить ценностный фундамент европейской культуры? Породить деструктивные социальные идеалы?

– Разумеется, невежество куда как удобнее и полезнее для человечества. Торжествующий фидеизм – это ли не искомая идеология? Для чего вообще пытаться критически осмыслить что бы то ни было? *Sancta simplicitas* – вот наш вечный идеал! Да скроется Разум, да здравствует Тьма! – вот наш неизменный девиз. И совершенно не важно, что невежество, даже навязанное обществу под видом добродетели, всё равно остаётся невежеством...

– Нет, тут уж, Горислав Игоревич, увольте! Относительно природы добродетели я с вами никак не соглашусь. Хотя, помнится, вы уже высказывались по этому поводу... Но я снова повторю...

Костромиров жестом остановил собеседника, отпил из бокала, закусил остатками тушёной грудинки, потом прибавил:

– Да, сразу хочу оговориться, внести, так сказать, ясность: при всём том, я с большим уважением отношусь к нашей Церкви. Как к важной части культурного наследия. Уверен, что репрессии против неё были одной из величайших политических ошибок большевиков. Собственно, я совершенно солидарен в этом вопросе с профессором Сергеем Петровичем Капицей... Помните, он как-то написал или сказал, что, дескать, не имеет с Русской Православной Церковью никаких разногласий, кроме одного-единственного, притом малозначительного – Церковь считает, что Бог выдумал человека, он же убеждён, что всё как раз наоборот...

– Это понятно. Но я вновь повторю: добродетель важнее любого просвещения. Неизмеримо важнее! А ведь именно и только религия является источником нравственности! Отрицать тот очевидный факт, что Десять Синайских Заповедей есть краеугольный камень всей нашей морали – по меньшей мере глупо.

– Ха! А как быть с представителями политеистических религий? Ведь, например, у синтоистов нет ни Священного Писания, ни Декалога, ни вообще каких бы то ни было религиозно-нравственных предписаний. *Ergo*, согласно вашей логики, японцы – люди аморальные. Так что ли? Я уж молчу об индусах с их тридцатью миллионами божеств и почитанием лингама Шивы. Жуть как добродетельно!.. Да и вообще, понятие общественной

нравственности – вещь весьма относительная. Если вам взбредёт в голову блажь прогуляться голым по центру Москвы, вас совершенно справедливо задержат за злостное хулиганство, а в том же Бомбее – примут за монаха-дигамбара и не обратят ровно никакого внимания.

– Язычники – отдельная тема, а Восток, как известно, – дело тонкое. Давайте ограничимся христианским миром.

– Согласен. Но надо смотреть правде в глаза: когда в IV веке христианская идеология утвердилась наконец в ранге закона, никакого реального облагораживания нравов, ни малейшего смягчения жестокости в общественных отношениях не произошло. Совсем напротив! Европейская или, точнее, Римская цивилизация оказалась отброшена в глубины варварства, к самым границам того, что только может вынести человек. Разве нет?

– Протестую! Вспомните, что первым делом сделала власть после низвержения язычества? А? Уничтожила такую дикость, как мучительная казнь на кресте!

– Разумеется. Но далеко не первым делом. Да и такое послабление было вызвано отнюдь не нравственными, а сугубо идеологическими соображениями. Это же очевидно. Достаточно полистать Кодекс Феодосия II, Юстинианов *«Corpus Juris Civilis»* или, лучше, все эти позднейшие «Эклоги», «Прохироны», «Эпанагоги» и «Василики», дабы убедиться – жестокости в наказаниях не стало меньше. Наоборот, они стали куда более разнообразными и изощрёнными... Конечно, в ряде случаев смертная казнь заменялась членовредительством. Но чем, скажите на милость, выкалывание глаз, кастрация, урезание носа, языка, рук или иных частей тела гуманнее простого усекования головы? По мне, так ничем.

– Вот что, Горислав Игоревич! – Сопоткин отставил в сторону частично опустошённое блюдо с образцами диковинных сыров, свирепо сверкнул на собеседника стёклами очков и решительно пододвинул к себе страшный чёрный пудинг. – Я всё понял. Вижу, мне не одолеть вашего заскорузлого, безнравственного и закоснелого в материалистических заблуждениях сознания, не достучаться до истинной вашей сути. Вы настоящий замороженный мамонт, высохший и законсервированный обломок души язычника-эскимоса. Жалкий невольник естественного порядка вещей! Несчастливая жертва, отравленная ядовитой слюной скептицизма, эпикурейства и даже гедонизма самого вульгарного толка. Короче, натуральный Сарданапал... И девизом-то вам следовало бы выбрать известное причитание Исая: «Да ямы и пиём, утрие бо умрём».

– «Потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться». Екклесиаст, глава восьмая, стих пятнадцатый.

– Бросьте, бросьте, профессор! Из Писания можно надёргать цитат на любые случаи жизни.

– Без сомнения.

– Так оставим философические экзерсисы. Я, знаете, не силен в философии, всю жизнь путаю герменевтику с герметизмом. А уж разбираться с заумью какого-нибудь феноменолога типа Хайдеггера – благодарю покорно! – легче удавиться... Но я уже говорил, повторю и снова: вы всё одно не заставите меня изменить точку зрения, не убедите в бессмысленности моего собственного существования... Примириться с тем, что человеческая личность – воистину бесценное сокровище, ибо она единственная осознаёт сама себя во Вселенной – так вот, смириться с тем, будто бы эта самая

личность – не более чем пламя серной спички, мгновенная искра, безвозвратно гаснущая во мраке небытия, я никогда не смогу. Да и не желаю... Для меня наличие тесного сродства человека с Мирозданием, наличие пуповины, связывающей его с вечным, непреходящим – не подлежащая доказыванию аксиома. Человеческая душа – не что иное, как единая нота чудесной неземной мелодии, мельчайшая составная часть, капля какого-то неизведанного потока, струящего свои таинственные воды из загадочных глубин Вселенной... Приведённый же вами пример Эдвина из Нортумбрии доказывает, на мой взгляд, лишь одно: вера, как своего рода «духовный инстинкт», изначально присуща всем людям. Тот, кто живёт, – верит, даже если считает себя чуждым религии. Пусть бессознательно, но он ориентирован на некий высший смысл своей личной жизни и Бытия Мира в целом. Это и есть смутное, невыразимое преощущение реальности Божественного. Вот так вот...

– Не сомневаюсь, – ответил Костромиров, – нисколько не сомневаюсь, что я вас не убедил. Люди абсолютно не изменились. И прежде, и теперь мы готовы на любые уловки мышления, на всечасное попрание законов разума и очевидности, на всё что угодно, только бы замаячил где-нибудь вдали туманный призрак осмысленной, а главное, вечной жизни. Несчастные человеческие существа! Мы нуждаемся в утешительных иллюзиях, даже умерев. Тот факт, что, когда человека больше нет, он попросту перестаёт быть – для нас непереносим. Только самообман и тщательно лелеемое неведение делают жизнь смертных относительно сносной... Нам даже недостаточно сотен уже существующих религий, и мы постоянно придумываем всё новые и новые...

– Повторяю, оставим этот бесплодный спор!.. И вообще, я, честно говоря, в самом начале спрашивал о другом: меня интересовало, каким же методом или набором методов вы руководствуетесь при изучении своего предмета, истории? Ну, коль скоро, вы напрочь отвергаете возможность всяких далекоидущих обобщений в этой сфере науки?

– Да никаким, – Костромиров пожал плечами. – Или, вернее будет сказать, мой метод – есть отказ от догматического следования любым методам, отказ от всякой нарочитой систематики и универсальной проконструированности представлений об истории... Историк не должен стремиться уложить предмет исследования в прокрустово ложе формальных схем, непременно доводить своё видение исторического процесса до тезисной ясности и, в конечном итоге, неизбежно упрощать его... Ему должно быть чуждо желание сходу «оседлать» першерона истории, отягощать его бессмысленной поклажей: сенсационными абстракциями, универсалистско-глобальными подходами, философией, методологическими изысками и сомнениями. Его мысль обязана пребывать в безмятежном созерцательном покое, он призван *sine ira et studio* добиваться максимальной ясности и конкретности при изложении материала с помощью самого минимума оформительских конструкций, категорий и попыток всегда предвзятого осмысления целого. Материал должен говорить сам за себя. Именно в этом я вижу искусство историка

– М-да. Значит, опять-таки никакой тебе философии истории? Никакой осмысленности?

Горислав Игоревич негодуяще фыркнул.

– Вот ведь! Далась вам эта чёртова осмысленность... Коли вы так уж о ней печётесь – то ради Бога! Обращайтесь тогда, по крайней мере, к

древним. Хоть какая-то польза... В конце концов, согласитесь, любая философско-историческая концепция восходит либо к Гесиоду, либо к Демокриту с Лукрецием. По большому счёту, подавляющая масса «философов от истории» тщится доказать, будто человечество движется от «золотого века» к варварству или, напротив, – от полуживотного состояния к чему-то вроде «золотого века». Ну, на худой конец, подобно Посидонию пытается сварганить какую-нибудь сборную солянку из двух этих основополагающих концепций. Так что ничего принципиально нового и в современных теоретических выкладках вы не найдёте. Вряд ли найдёте... По мне, лучше всего – сугубая безыскусность.

– Интересно... Ну и кто же из наших, отечественных историков вполне соответствует или хотя бы наиболее отвечает таким требованиям? Кто же? Назовите!

Горислав Игоревич задумался на минуту, потянулся было к трубке, потом ответил:

– Карамзин, наверное... Может быть, ещё Погодин... Но в первую голову, именно Николай Михайлович Карамзин.

– Пф-ф! Вот-те на! Карамзин! А как же его беспрестанное морализаторство? «Нравственные уроки истории»? Ярый монархизм и безусловная вера в прогресс? Как же его фетиш сильной и самодержавной власти государства? Это ли не догматизм?

– А что такого плохого в сильной государственной власти? – пожал плечами Костромиров. – Не вижу в этом ничего плохого. Разве государство вообще может существовать без сильной власти? Ну что вы, в самом деле! «Слабое государство» – это ж *contradictio in adjecto*, то есть вовсе не государство. Государство просто обязано быть не только сильным, но мощным. Да, именно так – мощным! Причём, во всех своих проявлениях и ипостасях... В этом смысле трудно не согласиться с Розановым: большие батальоны на границах Отечества и околоточный надзиратель внутри него – куда важнее сонма профессоров, литераторов и вообще всех нас, интеллигентов, вместе взятых... И правда, уберите с улиц любого крупного города на денёк полицию – сами увидите, что получится. В лучшем случае, всё ограничится массовыми грабежами, мордобоем и погромами. И это, повторюсь, в лучшем случае! Никакой «категорический императив» Канта не спасёт, уж поверьте. Пока не придумано иного, более совершенного устройства для людских сообществ, человек будет нуждаться в порядке, порядок же немыслим без государства, а последнее нуждается во власти.

– Да. А власть нуждается во лжи, – вставил Константин Петрович.

– Я о другом: как не относиться к теориям и методам основоположника русского сентиментализма, не они главное в его труде... Я назвал Карамзина, ибо он первый и едва ли не последний наш историограф, в достаточной мере свободный ещё от представлений об истории как исключительном поле действия разных жёстких и, по большей части, выдуманных закономерностей. Этакой химической реторте на столе у Всевышнего. По мне, подобная безыскусность его куда как выше партийной зашоренности какого-нибудь Костомарова или, прости господи, Иловайского, тем паче – досужего умствования всяких там никчёмных Кавелиных, Арцыбашевых и Милюковых...

– Пойдите, а Ключевский? Как быть с профессором Ключевским? Его вы тоже записали в «партийные» историки?

– Разве я сказал о нём хоть одно худое слово? Василий Осипович – великолепный историк. Кто бы спорил. И что немаловажно: достаточно взвешенный и осторожный в оценках. Просто, на мой вкус, в нем чересчур сильна соловьёвская школа. Отсюда – попытки дать всему, даже и частным фактам, логическое объяснение. А исторический процесс отнюдь не подчинён строгой логике.

– А, понятно! Разумеется, логика никак не согласуется с вашей гипотезой спонтанности истории.

– Именно. Так вот, о Карамзине... Обвинять его в том, что он якобы «не объяснял и не обобщал, а живописал, морализировал и любовался», столь же логично, как укорять Линнея в игнорировании теорий Дарвина. Ещё Веселовский писал, что по своей авторской добросовестности, по неизменной воздержанности в предположениях и домыслах именно Карамзин навсегда останется для нас недостижимым образцом. И я совершенно с ним согласен... Да! О Степане Борисовиче Веселовском я и позабыл! А ведь сей скромный «учёный-фактограф» и «монографист» сделал для русской истории не в пример больше, чем все «творцы» теорий и концепций вместе взятые. На работы его можно полагаться, как на фотографические снимки; взять те же «Исследования по истории опричнины» – отыщется ли там хоть слово, не основанное на источнике? Вот это и есть, по моему разумению, *summa meriti*...

– Одну минуту. Вернёмся к вопросу об авторитаризме. Важен ведь сам характер государственности. Не станете же вы отрицать, что у нас со времён Ивана III высшей ценностью является государство. Разве правильно, разве хорошо, когда не государство обслуживает людей, а, напротив, люди – государство?

– Так это старый спор. Но тут, уж простите, вы не найдёте во мне союзника. Нет, не найдёте! В данном вопросе я полностью разделяю мнение одного из моих учителей – профессора Александра Петровича Каждана.

– В чём же оно состоит? Мнение вашего очередного наставника?

– Он говорил о двух издавна существующих и при этом полярно противоположных системах: «общество для человека» и «человек для общества». То есть речь идёт не о том, будто, как вы выразились, нехороший Иоанн III или – что куда более популярно – извращённые коммунисты столкнули Россию с единственно правильного пути (*free market* и т.п.), а о том, что есть две системы, в которых государство только и может себя оформить. У нас исторически сложилась система второго порядка, вот и всё.

– Ну, это не ново...

– Согласен. Однако суть в другом. Если провести сравнительное исследование этих двух систем, то окажется, что именно в рамках второй из них – «человек для общества» или гегельянской (а уж Гегель был не глупее фон Хайека) – род людской и сумел достичь самых впечатляющих, самых блестящих результатов за весь период своего развития.

– Блестящих результатов? Не забывайте, вы, в сущности, говорите о тоталитаризме!

– Ну да. И именно эта тоталитарная или, если быть точнее, авторитарная государственная модель создала все величайшие мировые цивилизации – от Египта до Рима и Константинополя, от Китайской империи до Советского Союза. А в чём достижения демократии?

– Ха! А как же Афины?

– А что Афины? Разве не демократия погубила Афины? Будьте уверены, именно она, ваша разлюбленная демократия. Покуда в Афинах была крепкая власть, они процветали, как только власть ослабевала, демократизировалась – приходили в упадок. И, в конце концов, пали окончательно, сумев сохранить остатки культурного наследия только под сенью державных римских орлов. Как тут не согласиться с Геродианом, который именновал эту самую демократию не иначе, как «старинной болезнью» греков. Тяжким недугом, порождавшим кровопролитные раздоры, чрезмерную страсть к сутяжничеству, обнищание страны и – самое главное! – пагубную привычку «беспрестанно истреблять самих себя»?!

– Кто как ни близкий вам по духу материалист Демокрит утверждал, что бедность и неустройство в демократическом государстве надо предпочесть тому, что называется счастливой жизнью в государстве деспотическом. Ибо таковая бедность настолько же лучше упомянутого счастья, насколько свобода лучше рабства.

– Вот и попробуйте объяснить это умирающему с голоду нищему где-нибудь в Латинской Америке, на Гаити или в Демократической республике Конго. Любопытно, что он вам ответит?

– Аристотель писал, что демократии, как и монархии, могут быть плохими и хорошими.

– Разумеется. Но это ведь камешек в ваш огород. Значит, дело не в системе, а в её качестве. Вот, например, Византия. Вполне себе авторитарное, по вашим понятиям, государство. Не только колыбель Православия и хранительница сокровищ античной Эллады, но и прямо-таки тысячелетняя лаборатория авторитарного опыта. Не так ли? При всём при том возьмётесь ли вы с уверенностью утверждать, что этот авторитаризм и погубил Византию? Или, может, напротив, именно он и дал восточной половине Римской империи силы, чтобы выстоять в столкновении с варварской стихией? Была ли Ромейская цивилизация отравлена ядом «западничества», феодальной анархии или, наоборот, как раз недостаточное развитие западных элементов подорвало её сопротивляемость азиатскому давлению?

– Мне, как стороннику демократического пути, безусловно ближе гипотеза о пагубной роли всякого тоталитаризма.

– Ой ли? А в течение тысячи лет Византия только выживала? Выживала вопреки, так сказать, собственному строю? А может, вообще, социальная и политическая структура Ромейской империи не оказала существенного влияния на её судьбу? И империя пала благодаря комбинации случайностей – будь то дурные правители или неослабный враждебный натиск на её восточных и северных, а позже и западных границах? Есть у вас однозначные ответы на эти вопросы? И вообще... Вот мы с вами сколько уже лет... десять, а то и все пятнадцать лет живём при так называемой демократии, и что? Наблюдается невиданный расцвет культуры? Наука движется вперед семимильными шагами? А? Где сонмы «быстрых разумом Невтонов»? Легионы Шолоховых с Булгаковыми? Где когорты новых великих поэтов и манипулы выдающихся композиторов? Где они?

– Эка хватило! Да ведь таланты – не грибы, от дождя с солнышком не рождаются!

– Так от чего же они рождаются? Нешто от морозов? Что же способствует если и не появлению, то развитию таланта? Нет, что ни говорите, а благоприятная среда многое значит... Да взять хоть мою дисциплину... Скажите

мне, Константин Петрович, почему освобождение от уз марксистской цензуры не создало ничего даже близко лежащего к классическим работам крупнейших советских историков? Не потому ли, что мы больше заняты разоблачением «тоталитарного» прошлого, сладострастным смакованием репрессий и копированием давно протухших западных школ?.. И тут возникает закономерный вопрос: нужна ли вообще культуре демократия? Или в более мягкой форме: всегда ли демократия благотворно воздействует на культуру? Я уж молчу о крайней форме этой самой демократии – современном либерализме. Воздействие последнего на культуры равнозначно, на мой взгляд, воздействию вируса бешенства на любой живой организм... Вот и говорите мне после этого, что мир вокруг нас всё совершенствуется и совершенствуется...

– М-да... Кто-то сказал, что Христос хотел переделать человека, чтобы мир стал лучше, а Цезарь – мир, чтобы лучше стал человек.

– Вот-вот. И я, как вы догадываетесь, полностью на стороне Цезаря. Ибо терпеть не могу прекраснотушныя утопии.

– Уф! Ну что ж, похоже, и на сей раз мы с вами останемся по разные стороны баррикад. Оставим же и этот спор. Вы, кажется, что-то говорили о вашем идеале ученого-историографа?

– Ах да... Я, собственно, желал лишь подчеркнуть, что наш брат, историк, обязан руководствоваться только Истиной. Не межклановыми интересами, политикой (избави боже!) или иными какими высокими идеями – одной только Истиной!.. Ибо я убеждён, что учёный, равно как и судья, не имеет права даже в частном, мелком, незначительном выдавать за установленный факт собственные домыслы и предположения. Пускай даже из самых лучших побуждений... Именно здесь коренится моя нелюбовь к обобщающим формулировкам. Право, историку куда пристойнее промолчать о каком-то не совсем ясном предмете, нежели создавать у читателя иллюзию знания, на самом деле не существующего... А что толковать о современных представителях моей науки? У большинства из них пренебрежение к фактам, нежелание искать эти факты в источниках и обрабатывать пагубным и парадоксальным образом сочетаются с непомерно завышенным самомнением и постоянными претензиями на широчайшие и ни на чём не основанные обобщения, всевозможные «метаисторические» изыски... Налицо явная попытка подменить упорный, кропотливый труд исследователя игрой в общие фразы. А всё отчего? А всё оттого, что после торжества так называемого философского взгляда на историю, никто уже не осмеливался уклониться от создания или поддержки хоть какой-то, хоть самой завалыщенькой организующей концепции. Почти никто. В этом-то и беда. А как я уже сказал, *любая* концепция обязательно, с неизбежностью ядерного распада порождает неодолимое стремление пренебречь фактами, в неё не укладывающимися... Ага. Тут уж вы мне поверьте... Так что, к дьяволу концептуальность! – провозгласил Горислав Игоревич, поднимая бокал. – Ваше здоровье!

– Но вам не кажется, – не успокоился Сопоткин, – что при таком подходе история превращается в простую хронику происшествий, холодную и равнодушную?

– Нет, не кажется. Но если выбирать между хроникой и нарочитой субъективностью, то есть чем-то произвольным, а потому ничего не стоящим, я выбираю хронику. Повторюсь: настоящим делом учёного должен

быть поиск Истины. Не смысла, а именно Истины. Ибо всегда ли можно назвать таковую осмысленной?

– М-да... Признаюсь вам, Горислав Игоревич... Не обижайтесь, но в историю, как науку, я не верю. Собственно, вы сами только что доказывали мне, будто никому не дано знать законов её развития, принципов исторического процесса... О какой же науке тогда может идти речь? Но вот как раз в историю, как поэзию, как фундамент любви к своему Отечеству, как нравственную основу, объединяющую народ в почитании предков, в такую историю я верю.

– Вот оно что? В таком случае вам, Константин Петрович, должно быть абсолютно без разницы, правдива такая история или насквозь лжива. Не находите? Ведь даже намного лучше, если она будет совершенно легендарной. Благородная легенда и героическая сказка трогают, восхищают и воодушевляют гораздо сильнее, нежели действительность, которая зачастую значительно менее привлекательна для воображения и даёт не столь много поводов для гордости. Разве не так?

– Может быть. Однако согласитесь, юношеству скорее понятна именно опозитизированная история, пускай даже изрядно приукрашенная. Только такая история и может служить воспитательным целям.

– Ага. Совершенно с вами согласен. Это не только уместно, но и абсолютно необходимо. Школа должна воспитывать патриотов своего Отечества. Именно в этом её основная задача. В противном случае мы получим поколения «иванов, родства не помнящих», негодяев без роду и племени, безразличных к судьбам страны, а то и записных мерзавцев, ярых ненавистников собственной Родины... Но мы ведь не о школьной истории толкуем, а об истории как науке... Разумеется, «гордиться славой своих предков не только можно, но и должно»; лишь подлец решится спорить в этом с величайшим из наших поэтов. Любовь к Отчизне – основа государственности, без патриотизма любое государство обречено. Любое!.. Вместе с тем, историограф, придерживающийся исключительно воспитательных принципов, неизбежно сам обречён льстить народу, адресовать ему бесчисленные приторные объяснения в любви, петь бесконечные дифирамбы. Так не привьёт ли он читателям, вместо законной гордости своим прошлым, чудовищную (а потому смехотворную) манию величия? Не заставит ли он их почитать себя за исключительных, богоизбранных созданий, только и достойных всяческого поклонения?.. Да ведь ещё Гиббон писал, что жадность к нелепым вымыслам касательно прошлого величия особенно свойственна нациям, влекущим жалкое существование в настоящем...

– Вряд ли цитаты могут служить убедительными аргументами в споре.

– Не верите? Вспомните тогда Страну Восходящего Солнца. Едва только столкновение с мощью западной цивилизации в середине XIX века породило у японцев комплекс неполноценности, как они тут же озаботились утверждением собственной «идентичности». Выволокли на свет божий идеи Хирата Ацутанэ, пыль смахнули, и пошло-поехало: Япония – старейшее государство земного шара, живительный исток всего мало-мальски ценного в этом мире, в том числе, календаря, письменности, пирамид, слонов и эллинской философии; все расы зародились в Японии, а все верования – лишь слабые отражения универсального синтоизма. И, само собой, именно японские боги-ками, выступая под разными именами и личинами, были единственными реально действующими персонажами мировых религий.

Ибо кто суть Будда, Христос и Магомет — если не манифестации-аватары великой Ама́тэрасу? Даром, что та женского рода... Ничего не напоминает?

— Эка, куда вас занесло! Япония позапрошлого века...

— Ну что ж, можем рассмотреть и более свежие примеры. Далеко ходить не надо. Разве местные ирландские «учёные» не тщились в своё время совокупить в противоестественном союзе кельтов с пунийцами? Возвести род свой к Баркидам? Имея в виду, разумеется, в первую голову Ганнибалы. Как там у Байрона? «Душа Дидоны в Эрине живёт — так должен думать каждый патриот»... Или возьмите, хоть, современных малоросских «историков». Мало им, глядите-ка, что предки их (такие же «осколки» Киевской Руси, как и население Северо-Востока), оказавшись волею судеб на периферии, «украине» Речи Посполитой и крепнувшей Московии, переплавлялись в подобие «особливой» народности в кровавой борьбе со всеми возможными поработителями. Но и не без значительного культурного влияния последних. Кстати, отнюдь не всегда благотворного... Не героично как-то! Вот и принялись измысливать мифических прародителей — разных там волхвов-укров, да пеласгов с этрусками, отождествлять легендарного князя Кия с Атиллой, а себе, любимым, приписывать создание «Ригведы», не говоря уж о всём прочем мировом эпосе... Более того, пытаются канонизировать всевозможных нацистских упырей и живодёров, типа Бандеры и Шухевича! Одновременно очерняя всё русское и, тем паче, советское... А все эти до боли знакомые камлания о «крови и почве», «*Blut und Boden*»?.. Вот уж истинно «славних пради́дов вельких прауноки погани»... Придумали внедрять ублюдочную «галицкую мову», которая столь же отлична от литературного украинского, сформировавшегося на основе киево-полтавского диалекта, как блатная феня — от русского языка. Нынешний украинский уж никак не назовёшь языком Котляревского и Шевченко. Все эти «тримати» да «чекати», «полициянты» с «блазнями», и прочие полонизмы...

— «Буты чи нэ буты — ось дэ заковыка!» — с чувством продекламировал Константин Петрович.

— Ага. Лишь бы исключить любую родственную связь с «клятыми москалями», с великороссами, обыкновённым отвращением, разновидностью коих и являются, — продолжал Костромиров, нетерпеливо обрывая не вполне уместную, по его мнению, реплику приятеля. — Куда там! «Україна понад усе!»... Помяните моё слово, аукнется ещё сим витиям-маразматикам насаждение и пестование агрессивного-невежественного национализма, тотальная шизофренизация сознания собственного народа. Ещё как аукнется! Раскурочат, погубят страну. Как пить дать, погубят! Превратят в очередной этнический лепрозорий, мусорный полигон Европы, вроде Албании или обасурманенных останков Югославии... А вы говорите, нравственное воспитание... Нет, нет! Пускай героическая поэзия служит целям нравственного воспитания, истории же оставьте события и факты, её дело — канувшая в Лету действительность, а совсем не нравственность. К тому же, они обыкновённо не в ладу друг с другом.

— Честно говоря, мне-то куда чаще доводилось сталкиваться с совершенно иными, даже противоположными тенденциями, — возразил Сопоткин. — Не объяснения в любви, не дифирамбы, но иеремиады, слезливые причитания и андромахины плачи! Вот что скорее можно услышать в среде нашей творческой интеллигенции.

— А не нужно тусоваться на псевдолиберальной помойке! Что же ещё вы хотели услышать от всех этих Пивоваровых, Зубовых да Сванидзе с их лакейской озлобленностью? Для них лишь за кордоном — свет в окошке. Привыкли заморские сапоги вылизывать... Да этих флагеллантов хлебом не корми, дай только справить малую, а то и большую нужду на «отеческие гробы». Лбы готовы порасшибать — правда, в основном, чужие, — замаливая мнимые грехи русского народа перед всем прочим, «цивилизованным» человечеством. Только и знают, что вопить в неизбывном уничижительном угаре: «Покайтесь, окаянные!» Будто мало мы уже каялись... Пора, как говорится, и честь знать... В советском прошлом они видят одни очереди за дорогой их сердцу туалетной бумагой, преследования полоумных диссидентов и склонных к мазохизму правозащитников, да невозможность продемонстрировать в Манеже чудесные инсталляции из загаженных стульчаков... Гыгычут над пресловутой «эпохой застоя»... А ведь я уверен, будущие историки станут писать о «Брежневской эпохе» не иначе, как о «Золотом веке Антонинов» Советской империи... Короче говоря, это вовсе не противоположная тенденция. Это лишь обратная, полярная сторона всё той же тенденции творить из истории служанку политики и идеологии.

— Фу-фу-фу! Эдак вы и до оправдания марксизма докатитесь.

— А что марксизм? Как говаривал упомянутый мною профессор Каздан, сколько уж яду вылито на его мягкое темечко... Всё-таки именно марксизм породил знаменитую школу *Annales* — никуда от этого не уйти, и он же зачастую побуждал к широкому, а не сугубо местечковому видению прошлого... Маркса стоит уважать уже хотя бы за то, что он не отрицал определяющего значения *случайности* в истории, писал, что иначе она, история, была бы абсолютно мистической вещью... Да, марксизм вызвал к жизни государственную систему, отягощённую рядом пороков (а кто без греха?), но и с несомненными достоинствами и с безусловными достижениями. Разве те же двадцатые годы прошлого столетия не принесли колоссальный расцвет культуры? Возьмите любой род искусства — будь то поэзия, проза, театр, кино, музыка, архитектура или живопись — и вы не сможете опровергнуть сего очевидного факта. А наука? Впрочем, об этом мы уже говорили...

— Святые угодники! Да это же танец на гробах, натуральный пир во время чумы!

— Возможно. Но всё-таки был и пир! А относительно танца... Да ведь всё существование человеческой цивилизации — это, так или иначе, танец на гробах. Вы попытайтесь-ка доказать французу, что он обязан отплеваться от своей Великой Революции. Дескать, славить оную кровавую вакханалию — значит танцевать на гробах, возводить на пьедестал палачей типа Сансона, Сен-Жюста и Марата с Робеспьером... То же и с нашим коммунистическим проектом... И как ни насилуй историю, однако совсем не *D-Day*, а Сталинград стал поворотным моментом в мировой войне. Сколько не мажь чёрной краской «тоталитарное прошлое», люди шли на смерть именно за советское Отечество. За советское и социалистическое. Понимаете? То есть как раз во имя марксистской идеи. Да что говорить! Ведь и знамя Победы над Рейхстагом водрузила именно Красная Армия, а не явившиеся к шапочному разбору «союзнички». Каковые, говоря по чести, и свой Второй фронт открыли лишь из опасения, что иначе Красная Армия закончит войну не в Берлине, а в Париже.

Константин Петрович задумчиво покачал головой.

– А вы, оказывается, консерватор, Горислав Игоревич. Махровый реакционер и консерватор.

– Конечно, консерватор. Но без религиозной составляющей.

– И такое возможно?

– Как видите.

– Да уж! – с ехидной усмешкой воскликнул Константин Петрович. – Вижу, вы вполне можете повторить вслед за Алексеем Константиновичем Толстым: «Двух станов не боец».

– Именно так, – согласился Костромиров.

– Глядите, как бы вам не уподобиться летучей мыши, которую, если верить баснописцам, не приняли в свои ряды ни звери, ни птицы.

– Да на здоровье! Всё лучше, чем мессианская мания величия, либо холуйское самобичевание с обязательным лобызанием штитлет «просвещённого» Запада.

– Ладно... Воля ваша, но мне, всё одно, представляется, что историография не должна быть сухим академическим трактатом, занудным повествованием о судьбе и деяниях какого-нибудь народа в известный период. Её призвание в ином: она обязана воодушевлять, вызывать восторг, любовь и гордость за значительное прошлое и надежду на ещё более прекрасное будущее.

Костромиров рассмеялся:

– Короче, преследовать пропагандистские цели? Да? Ну что ж, с такими взглядами, уважаемый Константин Петрович, вам, и правда, прямая дорожка в стан ко всяким там пивторакам-плачиндам с их идиотскими украшениями, а наипаче – к отечественным миролюбо-кандыбовцам, бесноватым жрецам «Велесовой книги» и последователям профессора Чудинова, великого и ужасного... Ну, знаете, тем энтузиастам, что предпочитают выводить историю нашего народа из нижнего палеолита, свято верят, будто парантропы с австралопитеками общались (а то и переписывались) промеж собой на чистом русском языке, регулярно ищут и находят надписи кириллицей в трещинах египетских пирамид и среди узоров лунных кратеров, а равно убеждены, что именно наш родной язык являлся тем всеобщим меганаречием, предел коему положило опрометчивое сооружение Вавилонского столпа. Дескать, иначе какое же величие?

– Это уж чересчур, – улыбнулся в ответ Сопоткин. – Вы меня ещё в приверженцы Фоменко с Носовским зачислите.

– Ну что вы! И не думал, – благодушно заверил его Костромиров. – Если такие исследователи, как Гумилёв или Тойнби, пускай и склонны к необузданному фантазированию, но полезны уже хотя бы в качестве сильнейшего раздражителя нашей мысли, то всё, что касается творцов «Новой хронологии» и иже с ними, это уже не проблемы науки, это проблемы психиатрии... Вы не передадите мне корзинку с фруктовым хлебом? Он выглядит аппетитным.

– Между прочим, Горислав Игоревич, – обратился Сопоткин к историку, выполняя его просьбу и передавая хлебницу, – я заметил, что безумие вы рассматриваете исключительно как деструктивное начало. Но разве возможно отрицать, что зачастую именно необычные состояния человеческого духа образуют его творческое зерно, являются порывом к более высокому существованию... Не помню, кто именно, но, по-моему, очень верно заметил,

что люди, не носящие в себе никакого безумия, суть люди пустого непродуктивного ума.

– Готов с вами согласиться. Но лишь отчасти. На мой взгляд, всё это верно в отношении художественного творчества. К науке же, напротив, такой тезис явно не применим, даже пагубен, а главное, очень опасен. Повторюсь: одержимость «сверхценными идеями» в науке до добра не доводит. Таковые «идеи» хороши, точнее, позволительны лишь шизофреникам, но никак не учёным. Впрочем, это ведь очевидно. Разве нет?

– Нисколько не очевидно. Помнится, Нильсу Бору принадлежит изречение: всякая физическая теория должна быть достаточно безумной, чтобы оказаться правильной.

– Ну и что? Это ведь не более чем один из множества парадоксов, которыми так любит забавляться и тешить себя любое научное сообщество. Подразумевается, что наука, чтобы двигаться вперёд, должна постоянно творить радикально отказывающиеся от традиционных взглядов – и только в этом смысле «безумные» – идеи. Идеи, рвущие с тысячелетней замшелой традицией – то есть «безумные» в самом высоком и вполне научном смысле этого слова. Впрочем, очень скоро и они проходят путь от «безумия» к репутации колумбова яйца, становятся привычными, естественными, «единственно возможными», чуть ли не априорно присущими познанию и, во всяком случае, «очевидными». Тогда появляется необходимость в новых «безумных» идеях, развивающих или полностью опровергающих прошлые...

– Это понятно, но...

– Разумеется, понятно! В этом и есть существо научного познания мира. Ведь оно, познание, – всего лишь вечный, нескончаемый процесс приближения к истине. Ибо высшей степени достоверности не существует. «Седьмого дня творения» в науке никогда не наступит... Скажу больше: познавая всё новые и новые законы и свойства мира, наука не только не уменьшает количества ещё не открытых законов и свойств, но, напротив, только множит таковые. В этом, кстати, её кардинальное отличие от метафизики. Оттого наука заведомо и проигрывает вере – она никогда не сможет предложить более высокую цену, чем её соперница... Теория познания доказывает, что любые научные объяснения *a priori* страдают хронической незавершённостью, а всякие мистические доктрины как раз и претендуют на абсолютную завершённость своей «системы доказательств», дают человеку обещания, уверения и гарантии, хотя и заведомо несбыточные, но от того не менее заманчивые... Наука не застрахована от ошибок и загодя уведомляет о невозможности найти ответы на все вопросы, религия же, напротив, претендует на окончательную определённую истину в последней инстанции. Далеко не каждый человек готов поступиться утешительными иллюзиями ради изначально лишённого экзистенциальных претензий, но честного знания... Порой кажется, что сам дьявол придумал поставить веру на рубежах познания...

– Ну-у, может быть... – неуверенно протянул Сопоткин. – Но отчего же в таком случае именно среди представителей точных наук столь много авторов всевозможных завирательных сенсационных теорий? Я разумею как раз всяких Фоменко-Носовских и Чудиновых со присными?

– Да, тут вы абсолютно правы, – с печальной улыбкой ответил Костромиров. – Есть такое дело. Естественников хлебом не корми, дай сказать новое

слово в чуждых областях знания. Я уж молчу о кучкующейся рядом с ними околонушной шатии... Думаю, очевидно, кого я имею в виду. Взять, хотя бы, некоего наверняка вам известного (из газет, разумеется!) врача-проктолога, что занят неутомимыми поисками по всему миру проходов в Шамбалу, ещё не до конца забитых ментальными человеческими экскрементами. Или – не в меру нахрапистого бывшего «шахматного гения», ну знаете, того самого, который недавно заявил, будто понимает в истории куда больше всех историков вместе взятых, ибо в совершенстве постиг теорию и практику развивающихся настольных игр... И ведь весь подобный бред преподносится с той убийственно-серьёзной миной, про которую французы говорят: «Вид как у мопса, писающего в скрипку»... Да мало ли таких! Воистину, имя им – легион. Ей-богу, будь моя воля, так я, кажется, сажал бы подобных воинствующих невежд в тюрьму или на цепь. За преступное убожество мысли, а лучше – за перверсионную геронтофилию. Ага, именно так. Ибо они пытаются растлить старушку Клию, сотворив из бедняжки какую-то на редкость непотребную девку, размалёванную шлюху, вроде сверхмодной десакрализованной мифологии, по самые уши напиханной всеоглупляющей ложью их гнилого семени. Главное, чтобы она покорствовалась всем их гнусным прихотям, всем извращённым фантазиям...

Почувствовав, что излишне разгорячился, Горислав Игоревич сделал глубокий вдох, медленно осушил бокал вина, затем продолжил:

– Что же касается самих учёных-естественников, так ничего удивительного в их сугубом пристрастии к неуместному теоретизированию в гуманитарных областях нет... Перво-наперво, большинство из них движимо пагубным высокомерием по отношению к иным, не сводящимся к «цифры» уровням знания и готово вслед за Резерфордом твердить, что «все науки делятся на физику и собирание марок». Отсюда – лёгкость ума и суждений необыкновенные. Дескать, коли допустима разная интерпретация, а тем паче датировка, одних и тех же событий, то и о какой-либо достоверности этих событий речи идти не может. Собственную дремучесть и непозволительное невежество они склонны перекладывать на чужие плечи, повторяя, будто мантры, доводы о невозможности проверить исторические данные опытным, лабораторным, так сказать, путём, свести к уравнениям и формулам... Короче говоря, раз гуманитарные дисциплины не имеют якобы отношения к науке, так «гуляй рванина»!.. Во-вторых, многие из них настолько глубоко, а следственно – узко, специализированы в своей отрасли знания, что вне сферы таковой специализации доверчивы до глупости... А главное, проблема в том, что именно представители точных наук – самые большие идеалисты. Видите ли, они привыкли иметь дело с идеальными – математическими и физическими – структурами и прониклись убеждением, что и всё Мироздание обязано быть столь же идеальным, гармоничным, рациональным, а значит – осмысленным.

– Но разве это не так? – спросил Сопоткин с грустью.

– Конечно, не так, – недовольно проворчал Костромиров. – Я битых полчаса пытаюсь вам доказать, что это не так... Да вы и сами почти признали сей факт...

– Да, я понял, но это столь печально... – со вздохом согласился Сопоткин; казалось, ещё немного и он примется ронять слёзы в бокал с «Кьянти». – То есть, печально знать, что вы именно так думаете. А гармонии жаль. Очень жаль.

– Не отчаивайтесь, – поспешил успокоить приятеля Костромиров, – ведь в своих ощущениях вы не одиноки. А может быть – кто знает? – и правы. Я же не претендую на роль гуру, на истину в последней инстанции. Это совсем не свойственно по-настоящему научному подходу. Я лишь излагаю собственную – бесспорную лишь для меня самого – точку зрения. Между тем, и Эйнштейн и Планк утверждали, что чем больше они занимаются наукой, тем ближе подбираются именно к идее о гармоничности Универсума... Дескать, с давних времён, с тех самых пор как существует изучение природы, оно имело перед собой в качестве идеала конечную, высшую задачу: объединить пёстрое и, по-видимому, хаотичное многообразие физических явлений в единую упорядоченную систему, а если возможно, то и в одну-единственную формулу. Путём чистой дедукции объяснить необъяснимую картину Мира. Мол, в этом и состоит прометеевский элемент научного творчества – пытаться узнать не только «как», но и «почему»...

– Приятно сознавать, что компания у меня подобралась вполне респектабельная, – сказал несколько приободрившийся Сопоткин. – Но вижу, сами вы несколько не разделяете оптимизма великих физиков?

– Увы. Онтологический рационализм мне и правда чужд. Хотя бы уже потому, что не учитывает элементы неопределённости и случайности. Основополагающие, как мне представляется, элементы... На самом деле, убеждён, со временем будет доказано, что эйнштейновская Вселенная, управляемая «изошрённо-хитроумными, но отнюдь не злонамеренными» законами, столь же ограничена и несовершенна, как и неподвижная, от века существующая Вселенная Ньютона или статичная небесная механика Лапласа. И чем глубже мы станем постигать нашу Вселенную, тем всё более бесцельной, а значит и бессмысленной, она будет нам представляться. Ибо в мире вообще не существует ничего строго и безусловно детерминированного. Даже законы физики действуют далеко не всюду... Впрочем, непрерывное развитие и есть суть науки, не правда ли?

Константин Петрович отодвинул пустую тарелку из-под пудинга, положил на неё крест-накрест столовый прибор и сказал:

– К слову, о безумии и гармонии. А как же быть с античной идеей упорядоченного Космоса? Дескать, в основе всего лежит целесообразность и гармония. По-моему, упомянутые вами Эйнштейн с Планком имели в виду как раз нечто подобное.

– Чушь! Извечное заблуждение идеалистов. Всё в мире движется от Изначального Хаоса к Хаосу Конечному. И вряд ли любой отрезок этого пути возможно назвать гармоничным.

– Ну, с вашим-то нигилистическим пессимизмом и в кристаллической решётке нельзя усмотреть ничего, кроме хаоса. Кто бы сомневался. Хаос – в начале дней, хаос – в конце времён... А промеж Большого Взрыва и всеобщей аннигиляции Универсума – тот же хаос, то есть отсутствие всякой гармонии, упорядоченности, осмысленности... Сплошная алеаторика. Увольте, не верю я в подобные концепции! Думается, надо всей нашей жизнью безусловно довлеет божественный промысел, а сотворение Мироздания – есть несомненный акт божественной воли. Господь не творит лишённый смысла хаос, напротив, преобразует оный в нечто возвышенно-прекрасное. Как по мне, так даже и общепринятая нынче в науке теория пресловутого Большого взрыва крайне противоречива. Крайне! Далеко ей до безупречной стройности Книги Бытия...

Горислав Игоревич минуту молча рассматривал собеседника с какой-то отчасти сочувственной, отчасти сардонической ухмылкой, затем поинтересовался:

– Что вы помните из шумеро-аккадской мифологии? Например, о Драко-не Хаоса Тиамат. Или Тиамту... Точнее, даже не о Драконе, а о Драконихе... Ничего? Мало?

– Дракониха Хаоса? – с сомнением переспросил Сопоткин. – Шумеро-аккадская? Откуда, во имя всего святого? И что это за Тиамат такая? Признаться, из месопотамских преданий в памяти у меня застряли только Мардук, да Иштар с Таммузом-Адонисом.

– Ну вот! А говорите, не помните ничего... – Костромиров расслабленно откинулся назад, устроился поудобнее и принялся с удовольствием по-пы-хивать трубкой. – Между тем, если верить одной из десяти или одиннад-цати известных науке вавилонских версий мифа творения, – она изложена на семи глиняных табличках, найденных в знаменитой клинописной би-блиотеке Ашшурбанипала, – *вначале ничего не было*. Кроме, разумеется, первобытного Хаоса. Никто ещё не возник и ничто не имело имени, не были определены жребии... Другими словами, не минуло и йоктосекунды после Большого Взрыва. Только «тьма над бездною» и Дух Божий, носящийся над водами. То бишь над не оформившимися потоками энергии. А вот этим самым Духом и являлась чудовищная Тиамат – персонификация изначальной стихии, воплощение Мирового Хаоса.

– Мне как-то библейский вариант ближе... – проворчал Константин Пе-трович.

– Да, они очень близки, – кивнул не вполне расслышавший реплику Костромиров. – Во всяком случае, некоторые из версий, несомненно, лег-ли в основу Книги Бытия. Ага. И вот, означенная Тиамат порождает богов Хаоса – первобытных Апсу и Мумму. Те, в свою очередь, совокупившись с Тиамат, плодят бесчисленные поколения младших богов, всех этих Лахм и Лахаму, Аншаров и Кишаров, Ану, Энлиля и, наконец, премудрого Эа, чью волю века спустя жрецы-бару станут узнавать из шелеста тростни-ка в Эриду... Однако родительских ожиданий молодёжь, как водится, не оправдывает, пытается водворить порядок в хаосе, шумливо скрещивается и, вообще, безобразит... Короче, как может способствует инфляционному расширению Вселенной. Тогда Апсу, как до него египетская богиня Нут, а после – Кронос-Сатурн, решает изничтожить собственных деток. Его мать и жена Тиамат, кажется, не советует этого делать, но Мумму, играющий при них роль визиря, решает дело в пользу Апсу и рекомендует прибегнуть к самым суровым мерам...

– Каким мерам? – спросил Константин Петрович, воспользовавшись паузой в рассказе.

– Сожрать их всех, разумеется, – ответил Костромиров с плотоядной ух-мылкой. – А чему удивляться? Каковы ещё могли быть нравы при эдаком-то жестком промискуитете? Ага. Но молодые боги тоже не промах: они как-то прознают о грозящей опасности, и мудрый Эа, обратившись к магии, усы-пляет и убивает Апсу, а Мумму связывает и лишает мужества... Помните, и в этом Крон позже собезьянничал. Когда пресёк бесконечную плодовитость Урана с помощью простейшего сельскохозяйственного орудия...

– А с Тиамат что? – перебил Сопоткин. – Этот ваш Эа её тоже угробил? Или, может, стерилизовал?

– Нет, не угробил и не стерилизовал. Не сумел. И та, как вы понимаете, натурально жаждет мести. Шутка ли: потерять разом и мужа и визиря-сожителя. В гневе творит она чудовищ: змей, гидр, драконов, рыбо-людей, человеко-скорпионов, пёсьеглазцев, ламассу, туманных призраков и прочих милых созданий; старший из оных исчадий – Кингу – становится вместо покойного Апсу её супругом, предводителем полчищ Хаоса и хранителем Скрижалей Судеб. Вот тут, как раз, за дело берётся упомянутый вами Мардук...

– Видимо, история повторяется, – с натянутой улыбкой заметил Кон-стантин Петрович.

– Что вы имеете в виду? – брови Горислава Игоревича удивлённо по-ползли вверх.

– Ну как же! Только на сей раз не я, а вы решили пощекотать нервы рассказами о чудовищах и призраках.

– Ах, вот вы о чём! В самом деле... – Костромиров задумчиво по-смотрел на товарища. – В самом деле, некоторое сходство есть. Погля-дим, окажутся ли схожими и последствия... Но моя повесть много короче. Собственно, она уже заканчивается... Итак, как я уже сказал, на сцене появляется вавилонский Зевес – бесстрашный Мардук. Именно к нему обращаются перепуганные боги с просьбой о защите от разгневанной Драконихи Хаоса. Тот соглашается, но взамен требует первенства в их сонме, а главное, Скрижали Судеб, буде таковые удастся добыть в битве с Тиамат и Кингу. Боги поначалу упираются, но хитрый Мардук угощает их вином, сородичи, как оно и принято среди небожителей, надираются до положения риз, «хмельной напиток лишает их смысла» и заставляет согласиться на все условия... Замечаете, какая интереснейшая параллель прослеживается с гелиопольским эсхатологическим сказанием о коварной Исиде, престарелом Ра и свирепой Хатор или Сехмет!.. М-да... Так вот, Мардук вооружается, восходит на колесницу и мчится навстречу своей судьбе, выкрикивая боевые заклинания и держа в руках «траву волхо-вания». Войско Тиамат приходит в ужас, но сама Дракониха, увидав тщедушного по сравнению с ней бога, раскрывает огромную пасть, не-объятную как мировая бездна, и заходится в хохоте... Смешливость её и губит. Находчивый Мардук вгоняет в глотку зверюге подвластные ему семь ветров, вкупе с песчаной бурей, и Дракониха лопается от смеха, в буквальном смысле. Войско чудищ рассеяно, Кингу пленён. Ну, а дальше, понятно: одну половину Хаоса Мардук поднимает вверх и нарекает небом, из кишок, слизи и прочей требухи творит землю со всяким зверьём и растениями...

– И с человеком? – уточнил Константин Петрович, брезгливо передёр-нувшись.

– Нет, до человека руки у него чуть позже доходят... Через какое-то время Мардук начинает соображать, что бессмысленные твари служить бо-гам должным образом не в состоянии. И в самом деле, проку от них в этом плане немного, годятся разве что в качестве ингредиентов теургической продовольственной корзины... Вот тут-то ему и приходит в голову создать что-нибудь эдакое, особенное, наделённое искрой сознания и зачатками разума. Он вспоминает о пленённом им Кингу, забирает у того Скрижали Судеб, а после отрезает все его четырнадцать голов, смешивает ядовитую кровь чудовища со свежим навозом и лепит нас, людей...

– Тьфу! Пакость какая-то, – сплюнул Сопоткин. – Пакость, а не миф творения.

– Ну-ну, – насмешливо протянул Горислав Игоревич, вычищая пепел из погасшей трубки и вновь набивая её, – незачем расстраиваться по пустякам. У большинства ведь эдак-то. Я понимаю, что редко какие легенды, мало какие теогонии и космогонии трактуют происхождение человека презентабельнее. Китайцы, к примеру, полагали, что род людской ведёт начало от паразитов на теле божественного, но, видимо, не слишком чисто плотного великана Пань-гу. Да и «прах земной» Книги Бытия многим ли лучше? Разве что... Вот ведь, даже и на память ничего подходящего не приходит!.. Впрочем, в некоторых египетских папирусах люди именуются «слезами бога Ра». Более поэтичная версия, правда?

– Да уж.

– С другой стороны, в иных случаях, те же египтяне уверяли, будто кто-то из их божественной энеады – кажется, Атум, – «высморкал человека из своего носа»... Представляете? Человечество, как болезнетворная бацилла в мокроте сопливого бога!

– Даже и представлять не хочу, – поморщился Константин Петрович. – Повторяю...

– Вы меня простите, – прервал литератора Костромиров, – но мне, к сожалению, уже пора уходить. Очень важная деловая встреча, знаете ли. Отменить невозможно.

– Да, да, разумеется. Засиделись. Но сперва я, с вашего позволения, ненадолго отлучусь, – сказал Константин Петрович, поднимаясь из-за стола.

Костромиров молча кивнул.

Константин Петрович промокнул губы салфеткой и направился к выходу, осторожно поглаживая заметно округлившийся живот и ворча: «Охти мне, многогрешному... Снова ночь не спать... А какая всё-таки отвратительная мифология у всех этих древних поганцев, будь они неладны!»

Когда же, буквально через пятнадцать минут, он вернулся, то с удивлением и неудовольствием обнаружил, что кабинка пуста. На столе, рядом с приборами Костромирова, лежали деньги, судя по всему, с приличными чаевыми, да дымилась забытая профессором вересковая трубка. Видимо, Костромиров действительно очень спешил и предпочёл удалиться по-английски.

Константин Петрович взял трубку, поднёс к носу, принялся, и ему почудилось, будто ароматный голландский табак, которым обычно пользовался учёный муж, почему-то на сей раз имеет отчётливо выраженный запах серы... Или, всё-таки, ладана? Поди знай...

– Вот ведь, дьявол, прости господи... – только и пробормотал Константин Петрович, уминая пепел большим пальцем и засовывая трубку в карман.



ПОЭЗИЯ

Евгений ХАВАНОВ

Евгений Иванович Хаванов – родился в 1935 г. в Ульяновской области. В Сызрани окончил нефтяной техникум, в Новокуйбышевске работал на нефтеперерабатывающем заводе. Четыре года служил во флоте. Затем работал в областной газете «Волжская коммуна», где заведовал отделом культуры. Окончив Куйбышевский пединститут, учился в Академии общественных наук, в аспирантуре, в Федеральной академии государственного управления при МВД ФРГ. Доктор исторических наук. Профессор Московского городского педуниверситета. Автор книг и статей по проблемам молодёжи, антифашистского сопротивления, общественных движений. Заслуженный работник Высшей школы РФ. В поэзии – со времени военной службы. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.



Мы были, мы есть и будем!

Под московскими звёздами

*Москва.... Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось...*

А.С. Пушкин

Ребята! не Москва ль за нами?

М.Ю. Лермонтов

Полночное небо над нами,
Разбавленная синева.
Тень пролегла над мирами.
Лежит, отдыхая, Москва.
А в центре – легко и просто,
Как глазки божьи чисты,
Большие Кремлёвские звёзды,
А где-то ещё и кресты.
И доверительно, строго
Мерцает откуда-то свет
И нам указывает дорогу.
Иной же как будто и нет.
Но что ощущаешь всецело?
Страна, а с ней и Земля –
Что навсегда здесь осело
На сайтах седого Кремля.
Но прежде всего Россия –
И сад, и родной наш дом.

Её мы крестили, растили,
 В ней тысячу лет живём.
 Ну а проблемы – во многом.
 Вперёд и только вперёд!
 С царём, без царя и с Богом
 Историю делал народ.
 Рождались по ходу идеи,
 Принял – и с ними иди.
 И к молодым, молодея,
 Являлись седые вожди.
 Порядок, а не бунтарство,
 Держись его, сам держи.
 Там, где твоё государство,
 Родней у народа жизнь.
 Была Россия империей
 Когда-то в эпоху Петра.
 Но новой не принята мерою –
 Взята страной «на ура».
 Была и другая держава,
 Нелёгкий державшая груз
 Ответственности, гордой славы.
 То был наш Советский Союз.
 В истории всё непросто,
 И что-то – как в темноте.
 Из тех, кто входил под звёзды,
 Оказывались и не те.
 Задержки, просчёты, застои...
 Что бить, ну а что защищать.
 И даже сами устои,
 Казалось, не удержать.
 Велик наш народ, а по сути
 И в самом главном един.
 Не зря на всех выборах Путин
 Один, как всегда, один.
 И всё, что веками растили,
 Всё, чем страна живёт,
 Это наша Россия,
 Наш российский народ.
 И славен родимый наш дом
 И мир, в котором живём.

Былое – это что

Марш историков

1.

Простите, но я не кошка,
 Что на своём окошке
 Жизнь наблюдает в яви –
 Буднях, трудах и славе.

Картинки земного быта –
 Что в них не старо, не избито,
 Какие в моде идеи
 И кто я, и с кем, и где я.

Иль что-то со мной стало,
 Никак голова устала?
 Иль что-то случилось злое?
 Моё ампула – былое.
 И пошлое, и самое дошное,
 Главное, что это прошлое,

Здесь я и твёрд, и стоек –
 Как в древних Афинах историк,
 Как было где-то когда-то –
 Всё для историка свято.

Неправда не может ранить –
 Историк хранит память.
 И, как вода и камень,
 Трутся они веками.

2.

Память – явление сложное,
 Время – её вуаль.
 Память, как карта дорожная,
 Что тянет в незримую даль.

И, словно как по старинке,
 В тихом лесном пруду,
 Вдруг оживают картинки,
 А я всё иду, иду.

И мне это вдруг напомнило,
 Что было когда-то со мной,
 И как и тогда, наполнило
 Сказкой почти неземной.

Память, как утро светая,
Память почти святая,
Хотя и всю жизнь охая,
Бывает совсем жестокая.
Бывает она и дрянная,
А то и совсем дурная.

Но память – не только личности
При всей их несметной наличности,
Судьба не отдельных уродов,
А стран и целых народов.

А это уже не психический,
Это вопрос исторический.
Слово твоё, историк –
Скажи, ты по-прежнему стоек?

3.

Историк всегда аналитик,
Но где-то над ним политик.
И то не какие-то бесы,
А истые тяжеловесы.
И если тот что-то позволит,
Политик его уволит.

Где они, дяди такие?
Возьмите хоть весь наш Киев.
А с ним без шумного трёпа
Америка и Европа.

И что – путь историка горек?
Нет, не пасует историк.
Защита, которая есть, –
Честность его и честь.

В Белом доме сомнения.
Лондон такого ж мнения.
Поддержка во всём и поныне
В Берне, Брюсселе, Берлине.
Там, где ребята скорые
Готовы кромсать историю.

Всюду и слышишь, и видишь
На русском, английском, на идиш
Эссе, манифесты, речи,
Саммиты, дискуссии, встречи.
Отнюдь не отдельные споры
Лишают кого-то истории.

Есть и такие уродины –
Готовы остаться без родины
И без её истории,
И даже без территории.

4.

Былое не то, которое
Мне видится из окна.
Былое – наша история,
Какой нам предстала она.

Не только вещь историческая,
Настолько же политическая –
Ребус всегда готов.
Ещё и педагогическая
Для наших детей и отцов.

Куда нас наш путь ведёт?
Мы знаем истории код.
Память хранит народ.
С ней мы – вперёд, вперёд!

Август-2024

1.

Август. Обилие света,
Зелёного, жёлтого цвета.
Лето? Не лето вовсе,
Хотя ещё и не осень.

Небо – смотрю из-за штор –
Полуполинялый шатёр.
Погодка же, как ни жди –
Пойдут – не пойдут дожди.

Может, ещё изменится?
Верится и не верится.

2.

Август, такой вот август...
Но был и иной ракурс
Знаем: шумела Европа
Про Молотова и Риббентропа.
История помнит акт –
Такой был подписан пакт.

Звался тот хитрый ребус
«Августом-39»:
Мир, но сражаться пришлось
С теми, кто создал ось
Из Рима – Берлина – Токио.
То было нечто жестокое.

В поте трудились отцы,
С концами сводили концы,
Верша, что ещё не пройдено
Во имя любимой Родины.
И так из проблем вышли,
Так жили и так выжили.
Зато к их победным ритмам
Пришёл в 45-м постскрипtum.

3.

Но снова, под новый ракурс
Явился знакомый август.
Опять, как везде и где-то,
У нас завершается лето.
Та же, представьте, не лгу,
Трава на знакомом лугу.

Часы, потихоньку тикая,
Напомнят: погода тихая.
День начинается в деле.
Начало рабочей недели.
Какой вы костюм надели?

Труд – это долг вдвойне:
Себе и своей стране.
И хоть и нет Риббентропа,
Живёт как и прежде Европа,
По километрам далёкое,
Но тоже оно – Токио.
Но время сменило тон,
Главный центр – Вашингтон.

В Белом доме свежо:
Старый-престарый Джо
И с ним помоложе Камила.
Есть ли у смыслов мерило?
В политике то да сё.
Им же что надо? Всё!
Что было и что меняем.
Но кто-то уже невменяем?

4.

С эпохи седой, былинной
В истории длинной, длинной
Как частью России окраинной
Она и звалась Украиной.
И мыслить с какого-то лета
Её по-иному нелепо.
Да, есть у нас и такие,
Чью мысль обуял Киев.
Вот и принимаем их
Как подлинно невменяемых.
Лето как есть чортово.
Уходит в историю август
Две тысячи двадцать четвёртого.
Таким был его ракурс.

5.

Страна ведёт СВО,
Чтобы достичь своего.
В зори, туманы, росы
Сражаются велироссы.
Себя утверждаем – кто мы?
Великий народ или гномы?
Совсем не смешные комики,
Не гномы и даже не гномики?

Не сила, скорее мерка
Даёт в истории ход,
Вот этого-то Америка
Ещё никак не поймёт.
Бурлит заваруха чортом..
Рушит август сердца
В 2024-м.
И даже не видно конца.

Запад – за трутнем трутень –
Меняет портфели, посты.
А что остаётся людям?
Кладбища и кресты?

Но вахту несёт наш народ.
Вперёд и только вперёд!
С нами в пылу буден
Наш президент Путин.

Мы были, мы есть и будем!



Из истории добровольных народных дружин

Общественные формирования в помощь правоохранительным органам действуют в большинстве государств мира. Они обладают авторитетом в обществе и также являются серьёзным фактором патриотического воспитания населения.

В истории России имеется богатый опыт деятельности общественных формирований в форме народных дружин. Предшественницей Московской городской народной дружины была «Добровольная народная охрана», созданная в Москве в 1881 году. Главной задачей этой организации являлось участие в обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении крупных массовых и публичных мероприятий того времени, связанных с пребыванием в Москве императора Александра III. Власти тогда придавали большое значение этой организации. Её попечительский совет возглавляли лично московский генерал-губернатор Владимир Долгоруков и обер-полицмейстер Александр Козлов.

Называли помощников правоохранительных органов тогда не «дружинниками», а «ратниками». В конце августа 1882 года «ратники» впервые вышли на дежурство. Это было во время посещения императором Всероссийской промышленной выставки на Ходынском поле. В 1883 году численность Добровольной народной охраны составляла около 20 тысяч человек.

В 1912–1913 годах была предпринята попытка преобразовать Добровольную народную охрану в постоянно действующую общественную организацию «Добровольная народная дружина».

После Октябрьской революции задачи привлечения населения к участию в поддержании правопорядка и борьбы с преступностью возлагались на различные рабоче-крестьянские вооружённые формирования. В Петрограде это были Комиссии общественной помощи милиции, в Сибири – Дружины содействия милиции и Комиссии общественного порядка. Наиболее



Владимир Иванович Коршунков – общественный деятель, Заместитель председателя Московского городского отделения Российского творческого Союза работников культуры, автор публикаций в СМИ. Живёт в Москве.



известны среди них отряды Красной гвардии и части особого назначения (ЧОН), которые действовали на всей территории РСФСР.

В начале 30-х годов были созданы новые, единые для всего Советского Союза государственно-общественные организации, объединяющие граждан для помощи правоохранительным органам. Первым было создано добровольное общество содействия милиции ОСОДМИЛ, которое в апреле 1932 года было преобразовано в бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ). К концу 1940 года в рядах БРИГАДМИЛ насчитывалось 408 тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны в Москве, как и в других городах, действовали Группы охраны общественного порядка. БРИГАДМИЛ просуществовали до конца 50-х годов, когда им на смену пришли добровольные народные дружины.

В 1958 году по инициативе ряда коллективов крупных предприятий города Ленинграда была создана новая форма участия трудящихся в охране общественного порядка – Добровольные народные дружины.

2 марта 1959 года их создание было законодательно закреплено Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка».

30 марта 1960 года Постановлением ЦК КПСС по РСФСР и Советом Министров РСФСР было утверждено «Положение о добровольных народных дружинах РСФСР по охране общественного порядка». 20 мая 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об основных обязанностях и правах добровольных народных дружин по охране общественного порядка» были законодательно закреплены основные обязанности и права добровольных народных дружин.

Дружинники наделялись правами сотрудников милиции, но не во всём. Им было предоставлено право требовать от граждан соблюдения общественного порядка и прекращения правонарушений, проверять у правонарушителей документы, удостоверяющие личность, составлять в отсутствие работников милиции протоколы об административных нарушениях, доставлять правонарушителей в милицию или штабы ДНД.

К 1985 году в СССР насчитывалось 282 тысячи дружин, объединявших в своих рядах свыше 13 миллионов дружинников. Одной из лучших ДНД считалась добровольная народная дружина города Москвы, в рядах которой насчитывалось более полумиллиона человек. Дружины формировались по производственно-территориальному принципу под руководством партийных и комсомольских организаций.

На правах специализированных подразделений по борьбе с правонарушениями среди молодёжи и несовершеннолетних в состав ДНД вошли и ранее созданные оперативные комсомольские отряды. Уровень правовой и социальной защиты дружинников был определён такой же, как для сотрудников органов внутренних дел.

В конце 80-х – начале 90-х годов произошедшие общественно-политические и экономические изменения в нашем обществе, распад Советского Союза затронули и добровольные народные дружины. Переход к рыночной системе привёл к упразднению руководящих структур народных дружин на предприятиях, а обретение хозяйственной самостоятельности предприятиями – к отмене льгот для дружинников. Всё это незамедлительно вызвало прекращение деятельности добровольных народных дружин.

В начале 90-х годов в России правоохранные органы остались наедине с проблемами криминализации общества и высокой митинговой активности граждан. Мэр и Правительство столицы по согласованию с ГУВД города Москвы в начале 1993 года приняли решение возродить народную дружину в форме государственно-общественного объединения. Руководство Московской городской народной дружиной было организовано на профессиональной основе, для чего создали государственное Учреждение – Московский городской штаб народной дружины.

В начале своей деятельности Московская городская народная дружина в силу своих возможностей помогала стражам правопорядка, прежде всего на многочисленных митингах. Это имело немаловажное значение, потому как тогда была возможность высвободить значительное количество сотрудников милиции для выполнения их главной задачи – противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности в Москве. Большой вклад в создание Московской городской народной дружины внесли руководящие работники Правительства Москвы того периода.

Жизнь подтвердила правильность принятых решений. В период октябрьских событий 1993 года было успешно выполнено первое важное поручение Правительства Москвы: организовать круглосуточное патрулирование в городе во время чрезвычайного положения. Затем успешно выполнялись задачи по охране общественного порядка в дни различных празднований. Дружинники обеспечивали правопорядок на митингах и шествиях различных партий и общественных объединений, оказывали содействие государственным и правоохранным органам в мероприятиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, призыву граждан в Вооружённые силы Российской Федерации и частичной мобилизации.

Постоянно ведётся кропотливая повседневная работа по охране общественного порядка в жилом секторе и местах массового отдыха граждан, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, участию в оперативно-профилактических, специальных и контрольно-проверочных мероприятиях.

Сегодня численность Московской городской народной дружины составляет более 20 тысяч человек! Она является мощным фактором активности законопослушных граждан и патриотически настроенного населения. В Московской городской народной дружине состоят люди самых разных профессий: инженеры и педагоги, водители и врачи, муниципальные служащие и работники ЖКХ и многие другие. В современных условиях народные дружины по-прежнему активно помогают правоохранным органам в поддержании общественного порядка.

Во многих районных отделах МВД России народные дружины являются неотъемлемой частью системы работы полиции на закреплённых территориях. Кроме этого, налажено тесное рабочее взаимодействие с различными городскими структурами.

Все прошедшие годы деятельность Московской городской народной дружины постоянно совершенствовалась. В её составе были образованы специализированные народные дружины: метрополитена, безопасности дорожного движения, по обеспечению безопасности и правопорядка на водоёме (на базе РООПСВОД).

По просьбе Департамента социальной защиты населения Правительства Москвы в 2012 году была организована специализированная народная

дружина по социальной безопасности из числа работников соцзащиты, которая проводит профилактическую работу среди лиц без определённого места жительства. В 2013 году появилось ещё одно новое подразделение – специализированная народная дружина по оказанию содействия Управлению по миграции ГУ МВД России по городу Москве в обеспечении миграционного законодательства. Из числа студентов и сотрудников Московского университета путей сообщения сформирована специализированная народная дружина по охране общественного порядка на объектах транспорта, которая работает во взаимодействии с подразделениями Управления МВД России на транспорте по Центральному Федеральному округу.

Ещё одна специализированная дружина казаков была создана из числа членов Московского окружного казачьего общества.

На протяжении всего времени существования Московской городской народной дружины постоянную помощь и поддержку в вопросах повседневной деятельности оказывает Правительство Москвы. В последние годы большое внимание совершенствованию деятельности Московской городской народной дружины уделяет Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин. Налажено многолетнее тесное рабочее взаимодействие с ГУ МВД России по городу Москве, в первую очередь с Управлением охраны общественного порядка.

Московская городская народная дружина была первой среди организаций правоохранительной направленности, внесённых в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.

26 июня 2006 года принят Закон города Москвы №36 «О Московской городской народной дружине». Опыт организации и практической деятельности Московской городской народной дружины активно используется во многих субъектах Российской Федерации и был учтён при разработке Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Благодаря этому закону сегодня народные дружины с разной степенью их деятельности созданы во всех субъектах Российской Федерации.

Успешное выполнение задач, стоящих перед столичными дружинниками, было бы невозможно без высокопрофессионального кадрового состава. Всей организаторской работой руководят Государственное казённое учреждение «Московский городской штаб народной дружины» и начальники штабов территориальных и специализированных народных дружин.

Охрана правопорядка – дело общее, а потому неравнодушные люди в красных повязках продолжают заступать на дежурства и делать всё от них зависящее, чтобы москвичи и гости столицы чувствовали себя в безопасности.

И ещё хочу сказать несколько слов о своём увлечении, которое тесно связано с историей Народных дружин.

В газете «Петровка, 38» было написано: «Владимир Коршунков с 2010 года возглавляет штаб специализированной народной дружины по социальной безопасности при Московском городском штабе народной дружины. Как раз в 2010 году старший коллега по городскому штабу народной дружины Александр Пономарёв дал Коршункову хотя и неожиданный, но весьма заманчивый совет. К тому же Александр Владимирович, настоятельно

порекомендовавший соратнику по общему делу правоохранительной направленности собрать коллекцию значков по тематике народной дружины, преподаёт единомышленнику и первый дар».

Собственно говоря, с этого и началась коллекция: я получил в дар выпущенный небольшой партией значок, посвящённый 25-летию народной дружины города на Неве. Сейчас в моём собрании более 500 знаков, каждый из которых интересен по-своему. Скажем, о студенческих ДНД советской поры напоминает настольная медаль «20 лет народной дружине Всесоюзного института лёгких сплавов». Довольно широко представлены регионы России: к примеру, можно назвать «фалеристические визитки» народных дружин Ставропольского края, Курской, Свердловской и Ульяновской областей, Ярославля, Волгограда, Томска, Иркутска, Перми и других городов. Особо надо упомянуть оригинальный региональный знак – настольную медаль «25 лет ДНД. г. Архангельск. Завод «Красная кузница». Разумеется, есть в этой импровизированной экспозиции и столичный раздел, к нему относятся: знак «Комсомольский оперативный отряд при МГК ВЛКСМ»; юбилейный знак в честь 20-летия народной дружины Москвы (1993–2013 годы); знак «10 лет народной дружине города Зеленограда»; жетон специализированной народной дружины города по безопасности дорожного движения «НД БДД»; знаки оперативных отрядов дружинников завода ЗиЛ, известных высших учебных заведений – МАИ, МИИТа, МАДИ... Нельзя не сказать и о том, что в коллекции представлены памятные регалии дружинников из Белоруссии, Украины, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме того, мою коллекцию дополняют посвящённые ДНД документы-подлинники, различные виды нарукавных повязок и образцы бланков удостоверений дружинников, вымпелы, шевроны и другие предметы, включая раритетные. К настоящему времени также собрал и около десяти настольных медалей. Среди них – медаль «15 лет комсомольскому оперативному отряду дружинников Пролетарского района Москвы».

Конечно, есть ещё люди, такие же, как и я, фалеристы, которые коллекционируют знаки по истории многолетнего движения дружинников в нашей стране и за её пределами.

Это и невероятно интересно, и наглядно демонстрирует и факт внимания как государства, так и общественных организаций к работе народных дружин, которые в значительной степени способствуют поддержанию порядка, оздоровлению обстановки, борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией, обеспечению сохранности государственного и общественного имущества, а также личной собственности граждан.



ПОЭЗИЯ

Тамара ПОТЁМКИНА

Тамара Викторовна Потёмкина – поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Иркутской области. Член Союза писателей России, кандидат исторических наук, доцент. Автор шести сборников стихов, двух книг прозы, сборника поэтических переводов стихов непальских поэтов и двух музыкально-поэтических альбомов. На стихи Тамары Потёмкиной написано свыше 40 песен. Стихи и рассказы, а также переводы произведений болгарских, непальских, чеченских, ингушских и дагестанских поэтов опубликованы в журналах «Великороссь», «Невский альманах», «Новые витражи», «Камертон», «Littera», альманахах «Золотое руно», «Москва поэтическая», «Славянская лира», «Святъни сердца» (Луганск), «Айсберг в пустыне» (ДНР, Горловка), газете «Московский литератор» и др. Победитель и лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов и премий. Живёт в Москве.



Все мысли лишь о России

Священная война

Как в той войне фашист немецкий
Стрелял по нашим городам,
Вновь бьёт по мирному Донецку
Украонацистская орда.

Враги лютуют, словно звери,
Так и фашист не лютовал
Но без наркотиков, поверьте,
Страх косит всех их наповал.

Здесь снова в битве тьмы и света
Спасает мир моя страна.
За русский дух, Христа заветы
Идёт священная война.

Госпиталь

Здесь воздух наполнен болью,
Пропитано белое кровью,
Отчаяние и надежда
Соседствуют здесь с любовью.

И вглядываюсь я в лица
Ребят, что лежат в больнице:
Светлы, как иконы лики,
Хоть сдерживают стоны-крики.

Отвага в них, мужество, воля. —
Не ропщет никто на долю.
Ни злобы в глазах, ни страха
Взгляд в будущее распахнут.

По-прежнему дух их крепок,
Гордился бы ими предок!
Все мысли лишь о России
И вера — врага осилим!

Письмо с фронта

Привет, по тебе очень сильно скучаю,
Мечтаю на кухне попить с тобой чаю.

У нас всё нормально, ты не беспокойся,
Я жив и не ранен, ты жди и не бойся.

На днях военкор приезжал в нашу роту,
Готовил статью о геройской работе.

Пытал пацанов и постарше, и юных:
«Ребята, скажите, за что мы воюем?»

Тогда я смолчал, громких слов не люблю я,
Об этом одной лишь тебе напишу я.

Воюю за маму, воюю за батю,
Девчонок молоденьких, что в медсанбате,

За бабушек на деревенских крылечках,
За лес, за луга, за рыбалку на речке,

За чудо любви и радость быть рядом,
Чтоб в наши дома не летели снаряды,

За звон колокольный, что лечит мне душу,
Присягу, которую я не нарушу,

За наших героев, традиции, память,
Чтоб след на земле мог победный оставить,

За Крым, за Сибирь, за Питер, Москву,
За всё, что Отчизной своей я зову.

Ну вот, передышка закончилась наша,
Теперь буду ждать твоих писем, Наташа.

Они для меня в оберег обернутся.
Целую, люблю, обещаю вернуться.

Жду

Жду,
Когда я встречаю зарю
И в мыслях с тобой говорю.
Жду,
Когда на работу бегу,
Шепчу: «Отмолю, сберегу».
Жду,
Ночами стою у окна.
Как долго я буду одна?
Жду,
Скорей возвращайся, родной!
Пусть раненый, лишь бы живой.





ПОЭЗИЯ



Сергей ГАЗИН

Сергей Юрьевич Газин – поэт. Член Союза писателей России. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Автор 13 книг стихотворений. Награждён орденом «За вклад в литературу России XXI века» и медалями: «За мастерство и подвижничество во благо русской литературы», «За Победу!» и др. Лауреат премий МОО СП России им. Ярослава Смелякова, Евгения Зубова и «Золотое перо Московии». Кавалер Золотой Есенинской медали.

Живёт в Москве.



Мир человеческий

Девчонка-санинструктор

*Светлой памяти
поэтессы-фронтовички
Юлии Друниной*

Она была бесстрашной,
Хоть было страшно ей –
Бойцов из рукопашной
Спасая от смертей.
Девчонка-санинструктор,
Десятый класс забыв,
Солдатам, фея будто,
Шептала: «Будешь жив!»
Стихи писала слёзно
О тех, кто пал в боях,
Под залп винтовок грозных,
Отринув смертный страх.
И плакали солдаты,
Когда несли её
К хирургу медсанбата,
Тепло отдав своё.
Защиты были раны,
И выжила она –
О, как все были рады!
Но шла ещё война...

Под Курском

Не сломить, не согнуть нашу Русь, не разъять,
Потому что Россия – нам Родина-Мать!
Есть у нас и мечи, и щиты, и бойцы –
За страну, за народ свой стоят храбрецы!
Побежит новоявленный дьявольский враг,
Вдрызг разбит будет галл, англосакс и поляк,
И на танках звериных сгорит немчура
Вновь под городом Курском, слышав: УРА!!!
Побеждающий Светом зловещую тьму,
Русский Дух боевой не сломить никому!..
Сами головы сломят на курских полях
От огня справедливого в наших сердцах.

Мариуполь

Много мин на сожжённых полях –
Чтоб пройти, нужен опыт и смелость...
Но в разбитых врагом городах
Возрождается солнечный Феникс!
Воскрешается жизнь на земле
После тяжких в боях испытаний...
Ещё в дымной, горячей золе –
Поднимается град ожиданий.
Мариуполь встаёт на глазах,
Русский город у самого моря –
У людей исчезает прочь страх
После ужасов жуткого горя.
Вновь над городом Феникс живой
Гордо реет в пурпуровом свете!
Небо мирное над головой –
Спят спокойно счастливые дети...

Мир человеческий

В жизни есть судьбы людские,
И в каждой есть избранный путь...
В бездну толкают всех – злые,
А светлые – к Богу ведут!..
Мир человеческий хрупок,
Ведь сердце – хрустальный сосуд...
И небесам не до шуток,
Когда на куски землю рвут.
Вновь Сатана в стены бьётся,
Безумствуя в бункере зла,
Но восходящее Солнце
Бессмертно с планетой Земля!

Второй подвиг Гераклеса

Многоглавую гидру
 Победил Гераклес –
 Выйдя с другом на битву,
 Взял над злом перевес!
 По призыванию Зевса
 Рядом был Иолай –
 Тот племян Гераклеса,
 Что хоть в ад с ним, хоть в рай!
 Гидра – чудище Геры,
 Как исчадие зла,
 Пострашнее химеры
 Людям в море была.
 Посрубал у ней бошки,
 Придавивши скалой...
 «Чтоб не выросли больше!» –
 Так сказал наш Герой!

Прекрасен свет

Прекрасен свет в конце туннеля,
 Несущий радостную весть,
 Вдали смыкая параллели –
 Там продолженье жизни есть!
 Но нам неведомы дороги,
 Загадка – каждый поворот...
 А мы порою босоноги,
 Идя то посуху, то вброд.
 Идём, идём на лучик звёздный,
 Хоть самый слабый, но живой –
 Где радость будет сладко-слёзной,
 Когда пройдем путь непростой.
 Превозмогая все невзгоды,
 Стремимся к светлым небесам,
 Где золотые льются воды
 И нет пределов чудесам!

В огне грехов

Не губите, люди, души,
 На планету сев верхом –
 Неужели станет лучше,
 Коль стогит наш общий дом?..

Земля сгорает в цвете лет,
 Горит весь мир в огне грехов...
 А человеку дела нет,
 Что сам стогит в конце концов.

Ему огонь дал Прометей –
 От тьмы и голода спасти
 И светом истины – людей
 От чёрной бездны отвести!

Но силу света ощутив,
 Зазнался жадный человек
 И, Прометея позабыв,
 Сжигает мир из века в век...





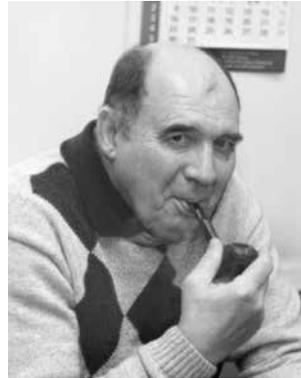
ПОЭЗИЯ

Александр ЧЕРЕВЧЕНКО



Александр Иванович Черевченко – родился в 1942 г. Окончил Черноморское морское училище им. П.С. Нахимова и Литературный институт им. А.М. Горького. С 1971 по 1984 гг. жил и работал в Магадане – корреспондентом областной газеты, собкором радиостанции «Тихий океан», первым помощником капитана на судах «Магаданрыбпрома». Автор полтора десятков сборников стихов. Печатался в журналах «Знамя», «Москва», «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Даугава». Переводил эскимосских и чукотских поэтов.

Живёт в Риге.



Из Колымской тетради

На старом пожарище

Редколесье... На старом пожарище,
в глубине Среднеканской тайги,
помолчим хоть минуту, товарищи,
на минуту замедлим шаги.

Здесь ручьи выкипали до доньшка,
правил мор, не подвластный уму,
и колымское бедное солнышко,
как ребёнок, металось в дыму.

Редколесье... Горбатые стланики
да осинки кривые кусты
забрели, как бездомные странники,
погорельцы на этот пустырь.

В десять лет это горе вмещается,
год за годом плодит нищету,
и таёжная тварь не решается
пересечь роковую черту.

Нем язык несмываемой копоты.
Но, узнав в человеке врага,
лишь одно только слово «запомните!»
десять лет повторяет тайга.

Нас – запомнят! Бесхвойный, безлиственный,
обескровленный, в мёртвой золе, –
вот каков он, не мнимый, а истинный
человеческий след на земле.

Весенняя охота на Таскане*

Анатолию Передреву

1.

Когда закончилась пальба
и под прикрытье перевала,
опомнившись, дала судьба
уйти остаткам каравана.

Когда вдоль берега реки
костров возникло полукружье
и были спрятаны в скрадки
перекалившиеся ружья.

Когда над каждым костерком
как будто по команде, разом
запахло водкой, табаком
и пригоревшим птичьим мясом.

Тогда, вот именно тогда,
в начале утреннего пира
на плёсе дрогнула вода,
и в небе зазвучала лира.

Не находя привычных слов,
не смея прикоснуться к хлебу,
хмельные люди у костров
безмолвно обратились к небу.

Медлительно и тяжело,
снижаясь со своей орбиты,
три утки шли – крыло в крыло,
как три солдата с поля битвы.

И крик, опережавший птиц,
звенел натянутой струною
над вереницей тусклых лиц
и над предательской волною.

Была в нём боль. Но всё равно
звучало в нём и равнодушие
ко всем, кто пьёт своё вино
во славу меткого орудья.

Они летели напрямик,
их силы были на исходе,
и этот крик – прощальный крик,
он был единственным в природе.

И пасмурным весенним днём,
подчёркивая их величье,
неярким розовым огнём
вдруг озарились перья птички.

И с каждым взмахом крыл тесней
казался их полёт последний.
И были перья всё красней,
красней... Особенно у средней.

2.

Я давал тебе слово сюда не являться с оружием,
обещал я тебе приходиться без рыбацких снастей.
Всё, что взял я с собою, опять оказалось ненужным.
Ах, Таскан, ты умеешь пленить и приветить гостей!

Прячет хвоя от солнца студёные капельки ночи.
Ночь страшится рассвета, но силы её сочтены.
Дай, Таскан, испытать мне сладчайшее из одиночеств –
одиночество рыбы во мраке твоей глубины!

Только солнце спешит в одночасье покончить с росой,
а роса этой ночи пьянить его крепче вина.
И, хмелея, светило встаёт над прибрежной косою
и глубины твои озаряет до самого дна.

Я несу свою жажду твоим керамическим чашам –
синим плёсам твоим, поглотившим весенние льды.
Что мне делать с ружьём, что мне делать с моим патронташем,
если сам я дичаю, испив этой птичьей беды?

Если сам я охвачен тревогой и древним смятением
и туман перевалов в моей закипает крови?
Поделись же со мною упругим своим опереньем,
испытай моё сердце в полёте к озёрам любви!

Я тебе обещал без оружия сюда возвратиться,
не сдержал обещанья, а ты не прощал никого...
И опять улетают прекрасные сизые птицы
без меня, ах, Таскан, из твоих десяти рукавов!

**Таскан – правый приток Колымы*

Есть на что перекреститься

Летней ночью голубой
в паре с эхом-отголоском
звон встаёт над Колымой,
как над городом Загорском.

Одинокий долгий звон,
непривычное явление
из бараков гонит вон
молодое поколение.

«Что, пожар или потоп?»
«Караул! Спасай пожитки!..»
А Егорыч – бывший поп,
ныне сторож аммонитки,

дед по прозвищу «Стограм»,
как всегда, успел набраться
и горланит: «Божий храм
из воды всплывает, братцы!»

Над рекою, спору нет,
летней ночью беспокойной
неопознанный предмет
звон разносит колокольный.

То, фарватер сторожа,
посреди речной дороги
притонувшая баржа
издаёт сигнал тревоги.

Что ж, Егорыч, слёз не лей,
не крестись – не на крестинах.
Сроду не было церковей
в наших дивных палестинах.

Да в своём ли ты уме?
Водка впрямь тебя погубит!
Нет церковей на Колыме,
никогда уже не будет...

Летней ночью голубой
не имеющий значенья
звон плывёт над Колымой
против вечного течения.

Капитан баржи дарма
проявляет донкихотство:
обмелела Колыма,
прекратилось судоходство.

Но Егорыч, бывший поп,
не желает отступить,
не уходит, крестит лоб:
есть на что перекреститься.

Из репортёрского блокнота

Пурга притихла. Стелется позёмка
по крышам заполярного посёлка,
над головой слышались шаги.
Давно пора, прошла уже неделя,
а гости приисковского «отеля»
немного одичали от пурги.

Что делать? И серьёзный фининспектор,
и пожилой международник-лектор,
и я, газетчик, – все издалека
пьём чай и от безделья до упаду,
переживая снежную блокаду,
играем в подкидного дурака.

Но нам, командированным, залётным,
от жён и от начальников свободным,
не привыкать к подобным чудесам.
Но по какой причине сбился с курса
и как попал сюда завскладом УРСа,
не знаем мы, и он не знает сам.

Он в состоянии шока и надлома
в пяти шагах от собственного дома,
сдавая карты, причитает зло:
«Скорее откопал бы нас бульдозер!
Как надоел мне этот пики козырь,
мне никогда на пиках не везло!»

А фининспектор изрекает: «Кайся!»
А тот с его прокуренного пальца
не сводит глаз и просит тишины.
Ведь пуще всех ревизий и проверок
страшится он упреков и истерик
своей «неуправляемой» жены.

«По женской части я – сама смиренность!
Её необоснованная ревность
гнетёт меня...» И, видно, поделом,
коль в искупление не вины он снова
сто первый круг турнира в подкидного
достойно завершает под столом...

О, память репортёрского блокнота –
скитаний беспорядочный дневник!
Пора в дорогу. Вечная забота
опять взяла меня за воротник.
Готовлюсь в путь и снова замечаю,
что в рюкзаке который раз подряд
с блокнотом вместе, рядом с пачкой чая
колода карт лежит, колода карт.

Не главная из всех моих ошибок,
не самая опасная из бед,
колода карт – живучий пережиток,
ты вновь со мной, я рад тебе, привет!

Я просто знаю, что придётся снова
тебе ли, мне ли в дружеском кругу
не раз, не два, сражаясь в подкидного,
гонять чай и праздновать пургу.

Нам всем с избытком хватит непогоды,
и мы ещё сойдёмся у стола
отнюдь не ради карточной колоды –
во имя драгоценного тепла.

Как хорошо, что перед расставаньем
нам довелось слегка передохнуть
и что привычным северным сияньем
вновь озарён наш повседневный путь.

На дальней переправе

Я понимаю, репортёр не вправе
размахивать пером, как топором.
Но пятый час на дальней переправе
кого-то ждёт под дождиком паром.
И сам паромщик в мичманке помятой,
заученно дремавший до сих пор,
завёл со мною долгий, непонятный
и в общем-то бесцельный разговор.

Он говорит: «Ведь это же нахальство!
Мы, как собаки, мокнем под дождём,
пока в райкоме пьянствует начальство!»
Но тут же добавляет: «Подождём...»
А на пароме под худым навесом,
начальство пресловутое браня,
угрюмо, с переменным интересом
паромщику внимает шоферня.
И все глядят на голою дорогу,
и сплёвывают в реку – не везёт,
и молча ждут райкомовскую «Волгу»,
которая начальство привезёт.
Паромщик врёт: «Задам ему при встрече!»
Но добавляет: «Боже упаси!..»
А я гадаю, сколько рек и речек
и сколько же паромов на Руси?
Шумит себе тайга необжитая,
течёт себе небыстрая вода,
и все часы такого ожиданья
незримо собираются в года.
И тут, и там пустынная дорога,
и там, и тут осенние дожди,
и всюду до райкома, как до Бога,
и ждёт народ, и не спешат «вожди».
А я гадаю, где-то здесь ошибка.
Я говорю паромщику: «Момент!
Кого мы ждём, и что это за шишка?»
«Из Магадана. Хват. Корреспондент!»
Мне надо бы ответить: «Что за шутки?
Ведь это я, какая чепуха,
до переправы тряся на попутке
и чуть было не вытряс потроха!
Вам никогда начальства не дождаться
и зря торчите вы на берегу!..»
Мне надо поскорей во всём признаться.
А я вот не решаюсь. Не могу.

Петух в Магадане

Не вовремя утро пророча
под небом высоких широт,
представьте себе, среди ночи
петух изумлённо орёт.

С ветвей осыпается иней.
Морозная полночь глуха.
Зачем ты, приятель, в корзине
с собою привёз петуха?

Невинная, в сущности, шалость
 послушать солиста в снегах.
Но всё в результате смешалось
 в его петушиных мозгах.

Сместились пространство и время,
 о чём он и знать не хотел
 в своём петушином гареме
 среди императорских дел.

Бессилье, отчаянье гложет
 обиженный перьев комок.
 Ну что здесь поделывать он может?
 А он, понимаете, смог!

Увидев на северном небе
 звезды незнакомой полёт,
 он в форточку выставил гребень,
 решил, да как заорёт!

И крик его эхом высоким
 промчался в кочевья зимы
 по всем замороженным сопкам,
 по тропкам седой Колымы.

И так же, как ночью за хатой
 осенние пахнут стога,
 ромашкой, любистком и мятой
 запахли внезапно снега.

И было совсем не случайным,
 что ночью, среди тишины
 усталым моим колымчанам
 приснились нездешние сны.

Нет, видно не так уж наивен
 сумевший пропеть о своём
 заезжий простуженный пивень
 с роскошным червонным хвостом!

Встреча с горностаем

Молодой, весёлый и свободный
 по тайге бродил я без ружья
 и воды космически холодной
 зачерпнул из горного ручья.

Птичьими сверкая голосами,
тишина струилась, как река.
И тогда я встретился с глазами
рыжевато-бурого зверька.

Не кошачий взгляд придурковатый,
не собачий просветлённый взор,
но угрюмый и продолговатый
на меня нацелен был в упор.

Ни испуга в нём, ни изумленья,
ни желанья съесть меня живьём,
никакого явного стремленья
оставаться в обществе моём.

Но мерцало в нём такое пламя,
но клубилась в нём такая жуть,
будто бы простёрся между нами
не лесной ручей, а Млечный Путь.

И внезапно явственней и резче
вспыхнувшего в сумерках огня
вечный смысл случайной этой встречи
ослепил и озарил меня.

Никому и ничему не веря,
потаённой утренней тропой
два взаимно равнодушных зверя
осторожно шли на водопой.

И в таёжном сумраке глубоком,
в роковом предчувствии беды
два созданья, равных перед Богом,
утолили жажду у воды.

А тайга травую шелестела,
а тайга вздыхала, словно мать,
и, как видно, вовсе не хотела
в наши отношения вникать.

Мерзлота

Альберту Мифтахутдинову

После тёплого дождя,
после ласкового ливня,
щебеча и шелестя,
пробуждается долина.

Вся тайга в живых слезах.
За один волшебный росчерк
зеленеют на глазах
кроны лиственничной рощи.
Распускаются цветы
и по-детски шепчут: «Здрасьте!»
в царстве Вечной Мерзлоты –
в небогатом государстве.
До сих пор в ходу молва,
сказки, байки – как угодно,
дескать, мерзлота мертва,
бесполезна и бесплодна.
Это, право, ерунда.
Наши корни в лучшем виде
утвердились навсегда
в мерзлоте, да не в обиде.
И не в сорной суете
пробивались наши стебли,
а в стремленье к красоте
возмужали и окрепли.
Да, она бывает зла,
неприступна, вероломна.
Фонд бесценного тепла
тратит очень экономно.
Но зато – скупа, бедна
и упряма до предела –
скольким жизнь дала она,
сколько душ она согрела!
Понимаем я и ты –
всё в природе скоротечно,
под луной ничто не вечно.
Кроме вечной мерзлоты.

Огурцы

Ещё полна летучих льдинок
предутренняя тишина,
когда на Магаданский рынок
приходит первая весна.
Но не ручьи на южных склонах
и уж, конечно, не скворцы, –
её на хвостиках зелёных
сюда приносят огурцы.
Они не ведают ни грядок,
ни града средней полосы,
не знают, как бывает сладок
озноб предутренней росы.

И никогда их не коснётся
в раю теплиц и парников
июньское живое солнце,
тень крыльев или облаков.
И всё же в стороне полночной
нас они радуют вдвойне
своей причастностью заочной
деревне, юности, весне.
Да их нисколько не пугает,
да к ним никак не пристаёт
ни скупость тех, кто покупает,
ни жадность тех, кто продаёт.
Весь Магадан взволнован ныне,
с утра твердит об огурцах...
И на прилавках тает иней,
и тает иней на сердцах.

Не уронив пера и чести

Памяти Константина Малявина

Наставничество нынче в силе,
теперь наставникам почёт...
Мы выпили и закусили
на скромной Костиной могиле,
и ветер нам сердца сечёт.
Ну что же – вот и помянули,
сумели с горем пополам.
На глину рыхлую плеснули
свою тоску, свою вину ли
и заспешили – по делам.

Дела... В редакционной спешке
мы поначалу каждый день
терпели от него насмешки
за неумение и лень.
И, может быть, излишне строго,
излишне въедливо подчас
внушал он нам понятие долга
и строчек требовал от нас.

Рыбак, охотник, выпивоха,
душа приятельских костров,
он понимал отнюдь неплохо,
что значит «Родина», «эпоха»,
но избегал подобных слов.

Он знал, как может обесценить
их высоту и чистоту
пресытившая чрева челядь,
и потому спешил нацелить
нас, молодых, на простоту.

А было Косте чуть за сорок,
когда огнём военных вьюг
таившийся в груди, как ворог,
германский роковой осколок
у сердца шевельнулся вдруг.
Зловещий смысл такого факта
он принял с мужеством бойца
ещё задолго до инфаркта,
до юбилея и – конца.
И, гордый, не терпевший лести,
не признававший полумер,
он умер на рабочем месте,
не уронив пера и чести,
вновь подавая нам пример.

Завершена, казалось, повесть.
Но он, упрямый, и сейчас,
в колымской мерзлоте покоясь,
внушает нам, что значит совесть,
своим отсутствием среди нас.

Верховья разлуки

Закатного солнца оранжевый шар
в разрывах тумана.
Колымская осень – последний пожар
в верховьях Таскана.
По листьям и хвое, по травам и мхам
струится за нами,
стекает по веткам, стволам и корням
холодное пламя.
Всеобщее бегство, разлад и сквозняк,
тайга в беспорядке.
Как странно,
ещё не погас березняк
в знакомом распадке.
Как долго стихает за дальней грядой
прощальное эхо.
И снег над притихшей и тёмной водой
тому не помеха.

Но мы-то ведь знаем, зачем он кружит
и ждёт свою выюгу.
Природа устала, природа спешит
по вечному кругу.
И наша любовь, мой обещанный друг,
мой гений несмелый,
спешит завершить свой единственный круг
и стать чёрно-белой.
Смыкает нам губы, касается плеч
и бьётся в испуге
колымская осень – итог наших встреч
в верховьях разлуки...

